

РОМАН СЕНЧУН

ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ПОВЕСТИ

Литрес

Роман Сенчин. Интеллектуальный роман

Роман Сенчин  
**Петербургские повести**

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Сенчин Р. В.**

Петербургские повести / Р. В. Сенчин — «Эксмо»,  
2020 — (Роман Сенчин. Интеллектуальный роман)

ISBN 978-5-04-112549-3

«Петербургские повести» – истории о Ленинграде-Петербурге конца 1980–2000-х годов. Герои историй - люди разных поколений и социальных слоев. От старой пенсионерки, бывшего врача, доживающей свой век на Васильевском острове, до пэтэушника позднего СССР, от главного режиссера драматического театра до разорившегося бизнесмена, начинавшего с фарцы у Гостиного Двора.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-112549-3

© Сенчин Р. В., 2020  
© Эксмо, 2020

## Содержание

Оборванный календарь	6
Аркаша	18
Дочка	30
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# **Роман Сенчин**

## **Петербургские повести**

© Сенчин Р., текст, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

\* \* \*

## Оборванный календарь

Заскрёб в замке ключ, словно в мозгу кто-то стал ковырять шершавым стальным штырьком. С громким болезненным писком открылась дверь. Топтанье в прихожей, шуршанье полиэтиленового пакета. Снова писк двери, удар ее о косяк (не может никак, что ли, Наталья запомнить, что дверь просела и надо ее приподнимать, когда закрываешь?). Елена Юрьевна хотела подсказать, но та уже справилась. Замок защелкнулся.

Новые неприятные, резкие, раздражающие звуки: хлопок выключателя, шлепки сброшенных с полочки босоножек... Елена Юрьевна смотрит в сторону прихожей, оттуда желтоватый, теплый свет лампочки, там энергично и уверенно шевелится молодое красивое существо. Красивое, потому что молодое... Сейчас появится, войдет, наполнит комнату; Елена Юрьевна с нетерпением и страхом ждет.

В комнате полумрак, сгущаемый темной мебелью, потемневшими прямоугольниками картин на покрытых потемневшими обоями стенах. Окно почти все закрыто старинными, толстыми шторами, которые и недавняя стирка не смогла осветлить. Сквозь щель между шторами – холодная, синевато-белесая муть зимнего непогожего дня. Почему-то именно в декабре все дни кажутся непогожими. Даже когда ветра нет, когда тает снег, небо ясное – все равно чувство, что за окном, на улице, метель, солнце прячется в пластах плотных туч, все живое только и мечтает скорее, скорее спрятаться, укрыться в жилище, переждать, дожиться до весны, хотя бы до нового года, а там сразу станет светлее, легче, теплее, там обязательно что-нибудь случится хорошее.

– Я пришла, Елена Юрьевна! – объявляет Наталья, улыбаясь неприятной, лживой, юной улыбкой. Смотрит, заглядывает в глаза, ожидая чего-то, и, не дождавшись, интересуется: – Как чувствуете себя?

Елена Юрьевна промолчала. Наталья пошла на кухню... Муж называл ее Еленочкой, Ёлочкой; сын – «мама, мамуля». А другие – чаще всего – сухо, делово: «Гражданка, товарищ, товарищ капитан, Елена Юрьевна». «Елена Юрьевна» – это и сотни ее студентов, несколько поколений, для которых она была строгим, беспощадным преподавателем, помешанным на своей биологии. Между собой они ее величали (она, конечно, знала об этом) – Гидра. Теперь и ее, Елену Юрьевну, и ее прозвище давно забыли – почти десять лет как не работает. Теперь приходится слышать ей в свой адрес презрительно-мягкое, особенно обидное из уст молодых женщин: «Бабушка!», «Садитесь, бабушка», «Может быть, без очереди пройдет, бабушка?», «Бабушка, в переднюю дверь лучше бы вам». На остановке, в магазине, на почте, в троллейбусе... Незаметно, вдруг, однажды Елена Юрьевна из статной, красивой, гордой, для многих грозной женщины превратилась в немощную, согнутую старуху, которую боится зашибить пустой коробкой грузчик, которую готовы пропустить без очереди, усадить на сиденье, пока не упала... Слово «бабушка» она ненавидела, и другие обращения были теперь ей неприятны, от них веяло холодом одиночества; хотелось, чтобы называли как-то по-родному, теплее.

– Наталья, не зови ты меня Еленой Юрьевной, – стараясь говорить громче, велела она. – Я тебе тетя. М-м... Тетя Лена.

Племянница в четыре раза моложе ее, ей девятнадцать, да и племянницей она может считаться с большой натяжкой. Скорее внучка – дочь дочери сестры...

– Хорошо, тетя Лена! – легко согласилась Наталья; она разбирала на кухне продукты, хлопала то дверцей шкафчика, то холодильника, то хлебницей; ответила приподнято, с готовностью и со скрытым равнодушным согласием: как хотите, можно и так, если вам так приятнее.

И Елена Юрьевна вспомнила, что уже раза два-три просила племянницу об этом, но та, видимо, забывала, возвращалась к холодному – «Елена Юрьевна».

«Действительно, какая я ей тетя. Тетя – слово мягкое, сладкое, а я... Пирожков с повидлом не стряпала, не нянчилась с ней. Какая я тетя... Так, чужая, ворчливая бабка...»

– Наталья, электричество погаси в коридоре! – И хотела добавить: «Не тебе же, конечно, платить!» Пересилила себя, не сказала.

Племянница вернулась в прихожую, на ее лице старуха заметила вспышку досады. Понятно... Этого и следует ожидать. Она просто терпит, мучается и терпит, понятно ради чего... Что ж, дотерпит, недолго уже...

– Кушать будете? – спросила Наталья. – Я суп разогрею тогда.

– А ты? – через силу, стараясь притушить разрастающуюся обиду, проговорила Елена Юрьевна.

– Да я не хочу...

– Не хочешь...

Дышать было тяжело, слова выходили с трудом; и голос прерывался и дрожал, одна темная мысль наплывала на другую, догадки превращались в уверенность. «Она и ела-то со мной за эти два месяца – по пальцам пересчитать. Конечно, любой аппетит пропадет... на меня глядя».

– И я тоже не буду. Не хочу, – твердо и четко бросила Елена Юрьевна, повернула лицо к окну, смотрела на полоску сгущающейся сини между шторами.

Скорее всего, да нет – естественно, Наталья сейчас пожмет плечами, раздраженно цокнет языком. Не понимает она, мол, этих старушечьих капризов... Ну, пусть, пусть. Все останется ей, все ведь это теперь ее, а она, Елена Юрьевна, точнее – то, что от нее осталось еще, – лишний, никому не нужный предмет, требующий пока ухода и внимания, и хочется его выбросить прочь, чтоб не мешался, не раздражал. Что ж, понятно... И ей хотелось выкрикнуть в отчаянии: «Ну куда мне деться?! Скажи!» И просить племянницу потерпеть, дать умереть в своем углу... Вот тогда пусть и отдыхает, хозяйничает, распоряжается всем.

Потекли одна за другой частые слезы. Долго блуждали по бороздам морщин и наконец, добравшись до подбородка, капали на старый, но крепкий, толстый халат. Он помнил ее другой, этот халат, совсем другой, да и сама она помнила, представляла себя сильной, здоровой и в сорок пять лет сводящей мужчин с ума, недоступной, обворожительной. Совсем ведь недавно было. Было... А теперь как?.. Каждое утро приносит с собою темную пустыню нового напрасного, холодного дня. Сколько еще впереди таких дней? Отравленных, лишних, сулящих только боль и напрасное ожидание конца-избавления.

Елена Юрьевна попыталась остановить слезы, от этого они побежали сильнее. Рванулось из изорванной, забитой горькой таблеточной слизью груди рыдание. Старуха одной рукой схватилась за лицо, сжала губы и нос, другая рука тянула из кармана халата платок.

Выскочила из кухни племянница.

– Что? Что с вами, Елена Ю?.. Тетя Лена... Воды дать?

– У... уйди... Сейчас прой... пройдет, – задыхаясь, сквозь спазмы хрипло выдыхала она. – Уйди... Успокоюсь.

Наталья развернулась, ушла. Принесла чашку с водой. Елена Юрьевна, трясась, выбивала из пузырька в маленькую стопочку по капле корвалол.

– Не надо, тетя Лена, вам нельзя волноваться. Что случилось? Я что-то не так?.. – Наталья присела перед нею на корточки, смотрела своими блестящими, красивыми глазами, собравшись выслушивать от старухи упреки и оскорбления, готовая к ним как к неизбежному составляющему ее обязанностей. Ведь старухе никак без упреков и обидных слов – обидно, что вокруг продолжается молодая, веселая жизнь, но она не для нее теперь, она против нее. Она, как сильный птенец – выпихивает ослабевшего из гнезда.

– Торшер, может, зажечь? Что вы впотьмах...

– Иди, Наталья, там... почитай иди.

Оставшись одна, Елена Юрьевна отвалилась на мягкую спинку дивана, несколько минут сидела глубоко дыша, закрыв глаза. Лекарство подействовало, стало легче. Она немного успокоилась. Сердце, затрепетавшее было, когда рвалось рыдание, теперь билось ровнее, не толкалось к горлу, не падало в мертвую бездну, сжавшись от боли. Оно стучало, удар за ударом, стучало немного хрипло, как маятник в старых, давно не чищенных часах. С каждым ударом цепь с грузиком на конце опускается ниже, ниже; кажется, что цепь бесконечна, что грузик будет вечно опускаться и не достигнет упора. Все устало, всему хочется отдыха, а его нет, и жизнь теперь – наказание, каждый день словно пытка. Остается ждать, сидя вот так на диване, тупо глядя в темноту, ждать. Проклинать себя, очередной рассвет, сильных, молодых, распускающихся, как большие цветы, людей.

Елена Юрьевна поползла взглядом по комнате, надеясь найти что-нибудь, чем можно отвлечься, убить хотя бы несколько невыносимо тягостных минут.

– Наталья.

Появилась Наталья.

– Подай мне ящик тот вон, белый... с карточками.

– Какой же он белый? – робко не согласилась Наталья, поднимая стоящий под книжным стеллажом металлический ящик. – Скорей серебристый...

Эмаль на ящике когда-то была белой и яркой. Елена Юрьевна хорошо помнила, как красила его белой краской. Помнила этот ящик и новеньким, разноцветным, веселым – отец однажды принес его, он был полон халвы. Большой куб жирной, душистой халвы. На вкус – чуть с горчинкой... Потом ящик приспособили под муку, потом в нем держали клубки шерстяных ниток, еще позже и теперь – хранились фотографии. Со временем разноцветная раскраска отшелушилась, появилась чернота изъеденной временем жести, и Елена Юрьевна решила покрасить его. Вот и эта краска хоть пока держится, но потемнела; теперь лишь по памяти можно видеть ее белой, для постороннего же человека ящик серый, неотмываемо пыльный...

Елена Юрьевна приняла его, поставила себе на колени. Племянница стояла рядом, ожидая чего-то. Хотела, наверное, услышать «спасибо» или исполнить еще какую-нибудь просьбу. Или что?.. Нет, Елена Юрьевна не могла благодарить, не могла посадить ее рядом и показывать заветные фотокарточки, – она все больше и больше, и не понимая сама, за что именно, злилась на племянницу, ее присутствие раздражало, лишало последних сил...

Постепенно на протяжении этих двух месяцев отношения все хуже и хуже. Сначала, когда Елена Юрьевна списалась с матерью Натальи, своей настоящей племянницей, дочерью младшей, несколько лет назад умершей сестры; когда начались переговоры о том, чтобы девушка переехала к ней, казалось, что все будет хорошо, что появятся необходимый уход, забота, общение, такие нужные в старости одинокому человеку. И Наталья вроде бы исполнительная, внимательная, а на самом деле – невыносимо. Невыносимо само соседство молодой, красивой своей молодостью, полной сил девушки и человека отжившего, ждущего смерти.

Она взглянула на племянницу, их глаза встретились, и Наталья поняла, быстро ушла на кухню. Чем она там занимается, Елену Юрьевну не интересовало, – может, читает, а может, готовит отраву, чтобы убить ее. Это было бы самое правильное, самое нужное им обоим... В самом деле: что дальше? зачем дальше?..

Открыла крышку, сняла лежащие сверху свернутые грамоты, полуистлевшие, скрученные в трубку давнишние облигации займов, пачку дорогих писем. Положила на диван. Дальше – фотографии. Осыпавшиеся, побуревшие, истрескавшиеся – тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов; семидесятых, восьмидесятых – более свежие, некоторые совсем как новенькие. А последнего десятка лет – ни одной. Да и не надо. Только расстраиваться, морщась сравнивать с другими... А вот – их много-много, и все почти в хорошем состоянии – из детства и даже тех времен, когда Елены Юрьевны на свете не было. Портреты давным-давно

умерших людей, одетых в музейные ныне платья, сюртуки, шубы. Отец, в военной форме, с закрученными в стрелку усами, поручик на этом снимке; мать – молодая, светлая женщина с большими, притягивающими глазами. Это в пятнадцатом году, мать тогда была сестрой милосердия, через несколько месяцев она познакомится с раненым офицером Масленниковым, они полюбят друг друга, обвенчаются, а в апреле семнадцатого родится Лена. Елена Юрьевна...

Удивительно, но она помнит дословно рассказы матери, имена не только родственников, но и знакомых родителей, многих из которых в жизни никогда не видела, не знала. И сейчас, перебирая фотокарточки, она сразу узнавала на них всех, будто у нее в памяти сфотографированы те минуты, когда мать длинными вечерами так же перебирала их и рассказывала о каждой.

Незаметно стало совсем темно. И Елена Юрьевна, словно проснувшись, вдруг поняла: она не видит, что на той карточке, которую держит сейчас в руке. Но память, секунду назад находясь за рамками сознания настоящего, лучше, чем яркий свет, светила ей... Ей стало страшно. Скорее нашарила кнопку, включила стоящий возле дивана торшер.

– Наталья, который час?

– Гм... Половина пятого, – торопливо проглотив недожеванный кусок, ответила племянница.

Елена Юрьевна поморщилась, посмотрела в окно. Полоска между шторами сделалась черно-синей. Вот и вечер. Бесконечный декабрьский вечер. Как и тогда... Они сидели в этой же комнате, на этом же диване. Было зябко, сыро, как в подzemелье, мать закутала дочерей и себя в толстый плед и перебирала фотографии. Вот эти толстые, на картоне, вечные фотографии. И мама подолгу рассказывала о каждой целую историю. О своих родных, о родных отца, о друзьях, об однокурсниках. И в такой же вечер отец принес завернутый в тряпку жестяной ящик с халвой. «Еще та, – похвалился он, – наша!» Каким-то чудом добытая. Под промасленной бумагой – темно-серая, твердая масса, пропитанная клейкой жарой, расплавленным солнцем... Ели ее, прогоркло-сладкую, с черным, похожим на глину, хлебом, запивали теплой водой...

– Еле... – Племянница кашлянула, поправилась: – Тетя Лена... Сегодня в театре Акимова «Зойкина квартира» идет... Вы не будете против, если я сбегаю?

Елена Юрьевна перевернула фотокарточку изображением вниз; она испугалась неожиданному появлению перед ней человека, нарушившего воспоминания. Несколько секунд смотрела на Наталью, не понимая, что нужно ей, наконец, очнувшись, качнула головой утвердительно и в то же время с укором.

– Иди, иди погуляй.

– Я не гулять, я в театр.

– Иди, иди...

– Я суп разогрела, тетя Лена, вам нужно поесть.

– Иди, не хочу пока.

Она чувствовала, что если Наталья скажет еще что-нибудь, снова подступят рыдания, вырвутся горькие, обидные слова. И девушка, кажется, тоже поняла это и потому промолчала. Прошла в свой угол, стала переодеваться. Елена Юрьевна старалась не видеть этого, не слышать шелеста одежды, она смотрела на стопку выложенных из ящика фотокарточек... Конечно, им в одной комнате тесно и неудобно, они мешают, стесняют друг друга. Но вторая комната заперта.

Она заперта уже много лет, это – комната сына. Там все как было при нем. Его костюмы, вещи ждут его.

Елена Юрьевна когда-то была уверена, что он вот-вот вернется, ждала, а позже вера сменилась окаменевшей памятью, суеверной святостью комнаты... Сначала она каждую субботу делала там уборку, стирала пыль, мыла пол, меняла постельное белье, теперь же, последние годы, даже не заходит туда. Ключ держит в шкапулке, на самом дне. «Вот умру, пусть что хотят тогда, то и делают. А пока что... пока я жива... Это Колина комната».

Она стала торопливо перебирать карточки, искала одну из тех, где был сфотографирован сын. Вот – после защиты диплома, его курс на крыльце университета. Шестьдесят девятый год. Июнь. Коле двадцать три... Через месяц он уедет по распределению в Северную Якутию и пропадет... Молодой, красивый парень с юношеской бородкой. Гордость курса, умница, любимец преподавателей. И уже скоро по телефону незнакомый голос будет вымученно объяснять: «... Тайга большая, ищем... Не волнуйтесь, пожалуйста, Елена Юрьевна, найдем. Всех поставили на ноги. Вертолеты... По метру прочесываем...» Пропала геологическая экспедиция, восемь человек, словно и не было. И в их числе Коля... Ни живых не нашли, ни мертвых, поэтому и хранила Елена Юрьевна в глубине души ожидание, надежду; до сих пор теплится в ней малая искорка и погаснет лишь вместе с нею, с концом ее жизни.

Подняла глаза от фотографии, обвела взглядом комнату, просыпаясь от мыслей. Болью укололо: племянница подтягивает колготки, безобразно и откровенно задрал подол юбки.

– Что с вами, тетя Лена? – Наталья обернулась на ее сдавленный стон, опустила, оправила юбку. – Я могу не ходить, если вам нехорошо.

– Мне хорошо... Собралась – иди.

– Вы поешьте, там суп горячий. Налить?

Елена Юрьевна перевела взгляд на стеллажи, смотрела на ровно стоящие книги, но не видела их, просто ждала, когда племянница выйдет, оставит ее в покое. Дышать было трудно, в горле застрял твердый, душащий комок, обида и раздражение лишали ее рассудка... Эта девица как в наказание послана. Порхает бабочкой над разлагающимся, но живым еще телом, морщится, а улететь не может – от этого зловонного, страшного тела ей польза. Вот закопают когда, станет она здесь хозяйкой... Елена Юрьевна вспомнила, каких усилий стоило прописать племянницу, как ходили они по бесчисленным учреждениям, оформляли документы, собирали справки; на это, кажется, и ушли ее последние силы.

– Ну, я пойду? – несмело спросила Наталья.

Елена Юрьевна повернула голову, проползла по девушке цепким, жадным взглядом. «Накрасилась, – отметила с отвращением. – Зачем в таком возрасте краситься? Только себя уродуют... И юбка-то, только что трусов не видно...»

– Сказала же... Что по десять раз спрашивать? Иди, конечно.

– А вы?..

– Я так посижу.

– Вы... вы бы поели все-таки.

– Наталья! – На секунду голос стал звонким, грозно-предупреждающим, каким бывал когда-то, и после одного слова вновь сошел на задыхающийся, надсадный хрип: – Поем... когда проголодаюсь.

Девушка мотнула головой, развернулась, направилась в коридор. С содроганием и манящим интересом шупала глазами ее фигуру Елена Юрьевна. Хотелось бросить вслед что-нибудь грубое... «Ступай, убирайся вовсе! Собирай вещи и убирайся! Ничего, как-нибудь одна, лучше одна, чем так...» Но остановило вдруг появившееся яркое воспоминание – как будто сел в кресло у противоположной стены дряхлый, ссохшийся старичок-еврей, сосед из сто восемьдесят второй квартиры, а она – она вдруг снова юная девушка, моложе теперешней Натальи... Как же его звали?.. Зильберман фамилия... Витольд... Да, Витольд Маркович Зильберман. Он часто заходил к ним, подолгу сидел, попивая чай, громко причмокивая обвисшими толстыми губами. «Тяжело стареть, Леночка, – однажды сказал ни с того ни с сего. – Тя-жело-о... Этому надо учиться с молодых лет. – И, вздохнув, повторил: – Запомните, Леночка, с молодых лет».

Тогда она не поняла его слов; Зильберман казался ей реликвией, последним из могикан знакомого ей по книгам поколения, интересного, полумифического прошлого. Для нее, сейчас находящейся в таком же положении, как тогда Зильберман, он был благодушным, хотя и уставшим, больным, но удовлетворенным человеком, спокойно подходящим к финалу своей

длинной, полной событий жизни. И естественно, что тогда тех слов она не заметила, и лишь сейчас они всплыли, вспыхнули и отравленным дыханием пахнули ей в сердце. «Тяжело стареть... этому надо учиться... с молодых лет», – прошептала Елена Юрьевна, провожая растворяющийся призрак старика соседа.

Пискнула, ударилась дверь о косяк, потом снова пискнула – и щелчок замка. Ушла... И с уходом Натальи словно посвежело в квартире, словно посветлела она и расширилась. Елене Юрьевне стало легче, захотелось встать, походить, подвигаться.

По одной, но достаточно быстро сложила фотографии обратно в ящик. «А почему никогда не пробовали ни мама, ни я сделать альбом? – подумалось неожиданно. – Почему карточки хранятся так, стопкой, а не в альбоме?» И представилось, как бы смотрелись они на страницах альбома, аккуратно, по хронологии расположенные. Нет, совсем не то. Когда перебираешь их, каждую чувствуешь в руках, читаешь написанные на обороте строчки пожеланий, даты, названия городов, роднее и ближе становятся они, а так, на страницах, – точно картины под стеклом... Не надо альбома, порядка, обманчивой аккуратности – там, в памяти, все упорядочено и свежо, а фотографии лишь помогают расцветить поблекшие подробности прошлого.

Болезненно кряхтнув, Елена Юрьевна поднялась с дивана, тяжело ступая отеками, негнушными ногами, прошла по комнате. Отодвинула край шторы, посмотрела в окно. В мутно-сырой тьме наступающей ночи сначала увидела себя, и в первый момент ужаснулась – ей показалось, что чужая злая старуха подсматривает и колдует. Перекошенное в стекле, измятое морщинами, будто глубокими шрамами, лицо, маленькие, в обрамлении складок кожи, глаза смотрят пристально и тревожно – следят. Тонкие бескровные губы подрагивают, еле заметно шевелятся, как бы стараясь что-то сказать... Некогда тугой, красивый подбородок заострился, ясно видны на нем частые толстые волоски. Жидкие седые нити на голове – остатки ее пышной когда-то гривы... Хотелось опустить штору, отвести взгляд, но она смотрела, как завороченная, изучала теперешнюю себя... Наконец взгляд прорвал отражение, уперся в стену и окна напротив, совсем рядом. Над ними клочок чернильного неба. Внизу тесный дворик – кое-как умещаются в нем пяток гаражей-ракушек, два мусоросборника; у самой стены, цепляясь худыми ветками за водосточную трубу, тянется вверх кривое и хилое деревце с ободранной, изрезанной корой. Оно очень старое, но выглядит недоразвитым, рахитным подростком; летом на нем появляется десятка два маленьких, бледных листочков...

В одном из окон четвертого этажа сидит на подоконнике девочка или девушка, а может быть, взрослая женщина, не разобрать. За ее спиной такой же рассеянный, неверный свет настольной лампы, и силуэт сидящей на подоконнике темный, не видно, куда смотрит она. Не исключено, что и сюда, на Елену Юрьевну... Еще одна!.. Еще одна наблюдает, ждет. И леденящей волной пробежали по телу мурашки ужаса... Дни, годы, жизнь. Окна, следящие, молчаливые окна. Дворик, дом, квартира. Все ждут... Она вдруг, за какую-то малую секунду, за миг увидела все прожитое и с отчетливой ясностью поняла: ничего-то действительно счастливого не было. Даже редкое, блеклое счастье неизбежно оборачивалось вскоре бедой. Каждый раз ожидалось лучшее впереди, ожидалось, а не приходило; и уже само ожидание казалось счастливым временем в те дни, когда схватывали цепкие объятия испытаний и горя. «Нет, нет, что я! – испугалась. – Нельзя так. Все было, была жизнь!..»

Она отпустила штору, та с тяжелым шелестом, почти со скрипом распрямилась, заслонила окно... Пробрела по комнате, трудно передвигая непослушные, одеревенелые ноги... Вот как-то в детстве пробовала ходить на ходулях. Смеялась, падала, запинаясь. Бросила в конце концов ходули и побежала по траве, подпрыгивая, срывая цветочки, ничего не боясь... Дыхание опять потерялось, комок боли подскочил к горлу. Елена Юрьевна накапала корвалола, разбавила водой. Жадно выпила.

Долго и тщательно она собиралась. Куталась в старые, пропахшие лекарством одежды. Кое-как сумела сунуть ноги в высокие серые валенки, стянутые потрескавшимися галошами. Галоши так давно сидели на валенках, что, казалось, прикипели к ним; года три назад Елена Юрьевна пыталась их снять, чтоб просушить обувь, – не получилось.

Выйти одной, без помощи, на улицу было рискованно, она боялась, что оступится на темной лестнице, поскользнется, упадет, а подняться самой вряд ли получится. Но что-то толкало ее из квартиры, непреодолимо хотелось почувствовать снег, увидеть широкую панораму города, отсвет огней в холодной, вечно беспокойной Неве... С ранней осени она не покидала квартиру; тогда вместе с Натальей ходила оформлять документы на прописку племянницы. И в те дни совсем не обращала внимания на город, некогда было постоять, осмотреться, торопилась дойти от одного порога до другого... Теперь же, сейчас, город позвал ее. «Может быть, этой ночью... все... и так и не... и не попрощаюсь», – рвано, как дышала, думала, одеваясь, старуха.

Осторожно, щупая каждую ступеньку крепкой, старинной тростью, с которой, наверно, в молодости прогуливался по проспектам отец, Елена Юрьевна спускалась по лестнице. Правая рука ползла по отполированной тысячами ладоней полоске спасительных перил. В грязных окнах парадного – слабый, разреженный свет других освещенных окон, выходящих во двор... Ступенька за ступенькой, ниже, ниже, все ближе к свежести открытого воздуха, живительному холодку зимнего вечера. Надо только быть осторожней, главное – не упасть. Упадешь – уже не поднимешься.

И вот кончился последний пролет. Елена Юрьевна толкнула скрипучую, на растянутой ржавой пружине дверь, потом вторую. Постояла на крыльце, привыкая к обилию воздуха. Какой чистый он, глубокий!.. Голова закружилась было, земля поплыла, но это лишь на минуту. Придышалась... Так, надо дальше. Пошла к арке, налегая на трость, выскивая ее концом место для следующего шага. Со всех сторон смотрели желтые беспощадные глаза окон. Если сейчас упадет, они так же спокойно будут наблюдать, как трепыхается она на асфальте, пытаясь подняться. Не позовут на помощь, не удивятся, не помогут. Когда надоест, просто зажмутся – погаснет в них свет. Уснут.

Этот дом занимает целый квартал. С трех сторон его окружают улицы, а с четвертой, тоже, впрочем, через проезжую часть, – Нева. Форма у дома причудливая и сложная, внутри него несколько маленьких, слепых двориков, есть даже подобие садика в центральном дворе, с десятком чахлах кленов, стволы их покрыты малахитовой зеленью от вечной сырости; в садике полуразрушенный фонтан в виде вазы; на дне вазы скапливается дождевая вода, палые листья, шкурки бананов, хлебные корки. Они прокисают, и по двору стелется удушливый, отравленный запах гнили. Штукатурка со стен отвалилась кусками, теперь постепенно размокают кирпичи... С лицевой стороны дом еще сохраняет относительно благопристойный, даже внушительный вид, а издалека и вовсе напоминает дворец, где живут состоятельные, счастливые люди. Как же: вот, в двух шагах – набережная Невы, Стрелка, самый центр прекрасного города; многие завидуют, мечтают здесь поселиться. Наталье это почти удалось...

«Только... только бы не упасть. Не упасть!» Особенно страшны черные тоннели арок, при каждом шаге ожидаешь лед под галошей, выбоину в асфальте; каждый новый шаг сулит угрозу падения... Все ясней слышится слякотный шум проезжающих по размокшему снегу машин; вот прозвенел трамвай... Немного еще пройти, а там и улица, фонари, жизнь, люди.

Бухнула открытая пинком дверь парадного, оттуда вывалился человек, тут же громко отхаркнулся и сплюнул; следом за ним появился еще один.

- Ну и куда тут идти? – расстроено спросил первый.
- Налево вроде...
- Как, бляха, в чулане!
- Пошли, возьмем час...

– Да, надо. А им, бляха, – человек задрал голову и посмотрел на окна. – А им отрыгнется еще. С-суки!

– Хорэ. Сам начал первый.

– Ну вякнул, и что? Что теперь, гнать, что ли, сразу?!

– Хрен с ними. Пошли, кафешка тут есть на проспекте. Там посидим.

– Давай, надо...

И они торопливо скрылись в очередной арке, их шаги глухо ударялись о стены, потолок. Казалось, это шагали не люди, а великаны... Елена Юрьевна отлепилась от дома – как только выскочил первый, прижалась к сырому, холодному кирпичу, замерла, – потихоньку продолжила путь.

Было довольно тепло. Она омывалась потом, выступившим из-за волнения и непривычных теперь движений, долгой ходьбы; слегка подташнивало, скорей всего от усталости. С крыши вяло капало, капли ударялись о проржавевшие до дыр навесы над входом в парадные, долбили бетон панелей.

Последний дворик, последняя арка. Впереди полукружие света, силуэты торопливых прохожих, мелькание автомобилей. На противоположной стороне улицы бегут, гонятся друг за другом разноцветные огоньки в витрине дорогого магазина... Не выходя из арки, в метре от тротуара Елена Юрьевна остановилась. Решила передохнуть. Обе руки ее сжимали трость, ноги расставлены, туловище согнуто... Сейчас суета улицы подхватит ее, затормошит, вместе со всеми, бессознательно заразившись, придется торопиться, ускорять шаг, следить, чтоб не столкнуться с идущим навстречу или вынырнувшим из подворотни, опасаться машин. Дорога теперь очень узкая – несколько лет назад проезжую часть расширяли, прибавили еще по полосе для автомобилей с обеих сторон.

«Надо идти... Немножко, до набережной хоть... и назад». Елена Юрьевна собралась с силами, качнулась, пошла.

Вдоль улицы дул ровный, не сильный, но заметный ветер. Так же ровно шумела уличная жизнь, словно был запущен хорошо настроенный, безотказный станок... Она помнит ее разной, эту улицу. Цокот копыт извозчичьих лошадей по булыжникам мостовой (теперь булыжники остались лишь вокруг трамвайных рельсов); и трамвай старой конструкции – пугающую, неповоротливую громадину... Длинные черные авто с откидным верхом, на которые засматривались прохожие. Помнит мертвую пустоту ее, как русло высохшей реки, тишину, и редкие тени людей только усиливали ужас от зловещей работы смерти, съедавшей в те дни жизни неутомимо и безостановочно. Помнит она улицу на летнем рассвете – поливальные машины сбивали пыль с новенького асфальта струями веселой воды, и молодые парочки, не сторонясь этих струй, бежали к Неве...

Память, память... Самое страшное, что одна лишь она, память, осталась, память пережила тело, пропитала непосильные, кажется, пласты времени, не растеряла остроты и яркости. Но зачем? Зачем она все помнит? И чем ближе к смерти, к бесчувствию, мраку, тем отчетливее становятся картины воспоминаний. И вот – как бы наяву, почти осязательно появился перед глазами календарь. Отрывной, уже использованный, со скрепленными жестяным зажимом, криво оборванными клочками; и последний лист почти оборван, висит на тонкой полоске, а рядом горка измятых, полуистлевших, ненужных листочков – пережитых, опавших лет; и в итоге – ничего. Ничего, что бы осталось непоколебимо-важным, отрадным, осилившим смерть. Ни профессия не дала ей настоящего удовлетворения (были задатки к научной работе – не сложилось, стала готовить для научной работы других, но из многих сотен студентов никто не стал тем, на кого по большому счету учился), ни принципы, которых старалась держаться. Сын Коля... муж... Их обоих отобрала смерть, слишком рано отобрала... Почему же ее оставила? Зачем жить дальше? Зачем жизнь довела ее до такого предела? Это ведь хуже смерти...

Елена Юрьевна, ослепнув, окаменев, стояла посреди тротуара, с трудом проталкивая в себя воздух, хватала его жадным ртом и не могла надышаться, – казалось, в нем совсем нет кислорода и вдыхает она пустоту.

– Извините, – услышала торопливо-досадливое над ухом и потом уже почувствовала толчок, за который прохожий попросил на ходу извинения.

Очнулась было, приготовилась идти дальше, и вдруг увидела себя со стороны и содрогнулась. Вот стоит сторбленная, закутанная в старую, изношенную одежду, вцепившись в палку, как в последнюю спасительную опору. Дряблые лохмотья щек жалко дрожат, губы шевелятся: беззвучно жалуется она равнодушию. На голове коричневый шерстяной платок, перетянутый крест-накрест через грудь, завязанный на спине; очки в громоздкой оправе еще больше уродуют и без того изуродованное старостью лицо. «Но... но откуда на мне этот платок... и очки?!» Елена Юрьевна никогда не носила очков, зрение у нее сохранилось на удивление хорошее, а такие платки, так повязанные, вызывали в ней воспоминание о самом страшном времени, когда смерть, неспешно-деловитая смерть от голода, равно и обильно косила детей и стариков, и молодых женщин, и сильных мужчин. Почему-то почти все люди тогда были в таких платках, завязанных узлом на спине, – наверно, пытались удержать под платком драгоценные крупички тепла своих тел, не выпустить жизнь...

«Я?.. Нет! Нет, не я это, не я!..» – Елена Юрьевна делала отчаянные усилия прийти в себя, возвратиться в реальность, отогнать видения, воспоминания. Ведь вот она, на тротуаре, она просто вышла подышать, прогуляться перед сном; когда-то она каждый вечер совершала прогулки по набережной. Позади были насыщенные работой, событиями (важными, как ей казалось в то время), успехами и неизбежными, конечно, проблемами дни. Но усталость пропадала, стоило постоять у Невы, послушать размеренные удары волн о гранит, увидеть на противоположном берегу Зимний, Адмиралтейство; так приятно было посидеть на скамейке на Стрелке, рассматривая в сотый раз шпиц Петропавловского собора. И она возвращалась домой отдохнувшей, с жадной скорей встретить новый день, погрузиться в него со всеми его делами, событиями, проблемами. Она всегда хотела жить, в самые тяжелые минуты хотела жить дальше, дальше, не терять надежды и веры в завтрашний день. А теперь... Что теперь? Теперь цепкие, ледяные пальцы смерти без опаски ощупывают ее, примериваются, как бы покрепче схватить, пережать горло и потащить в черную пустоту, в никуда.

«Иди, иди дальше!» – замотала головой, словно отбиваясь, Елена Юрьевна. И с первым же шагом шум улицы вернулся, ветер пихнул ее в спину, подталкивая вперед.

Нет, не кошмарное видение, никакой это не призрак. Не себя видит она. Идет ей навстречу, так же нетвердо, согнувшись, тяжело опираясь на палку, другая старуха. На ней этот зловещий платок, ее лицо уродуют очки в громоздкой оправе.

Трудно, медленно приближались они друг к другу, точно два неизлечимо больных шли по узкому коридору, каждый на свои бесполезные процедуры. И с ненавистью смотрела одна на другую, видя одна в другой свое отражение. Огромные из-за мощных увеличивающих стекол глаза кусали Елену Юрьевну, вгрызались в нее выцветшими, разжиженными зрачками, как беззубые десны издыхающей, злобной собаки. А по краю стекол бодро бежали отраженные огоньки автомобильных фар... «Жива еще? Ну, живи, если можешь, живи. Дай бог подольше тебе... подольше так... Ковыля-ай!» – «Да и ты не лучше. Не лучше! И тебе тоже...» – отвечала взглядом Елена Юрьевна.

Это было пятьдесят... Да, пятьдесят семь лет назад. Тогда нужны были мужчины, крепкие, молодые мужчины. Способные работать. А главная работа была – убивать и умирать. И требовались все новые, новые, еще и еще, война хозяйничала в пригородах, там, где теперь уже новостройки... Елена Юрьевна была членом медицинской комиссии райвоенкомата. Каждый день приходили сотни подростков, почти стариков, язвенников, калек, – они хотели на фронт, обивали двери всевозможных начальников, писали просьбы, дежурили у военкомата,

поджидая Елену Юрьевну, умоляли ее подписать бумаги, что годны. И приходили другие, тоже с просьбами, документами, – просили они об обратном... У этой, в платке и очках, муж был из числа вторых. Больное сердце, гипертония, вот все документы, справки, пожалуйста... Елена Юрьевна категорически стояла за его годность, тем более что был он ее сослуживцем по университету, аспирантом, как и она, и вдобавок они были соседями, жили в одном доме...

А с ней, с этой старухой, Елена Юрьевна и сейчас живет рядом – разделяет их одна темная арка.

Елена Юрьевна остановилась. Как же его фамилия? Их фамилия?... Кажется, эта живет с тех пор одиночкой... Как же? Максимовы? Да, да – Сева Максимов.

Его призвали. Максимовы умоляли Елену Юрьевну, других членов комиссии – не помогло. И... Нет, она не раскаивается, не жалеет... И в последний день перед отправкой, не на фронт даже, а на фельдшерские курсы, с Максимовым случился сердечный приступ. И смерть... Елена Юрьевна хорошо помнит свою реакцию: поморщилась, в голове стукнуло презрительно-брезгливое: «Умер от страха».

С тех пор обе женщины, встречаясь, вот так кусают взглядом друг друга. Год за годом, встреча за встречей... Однажды, когда Елена Юрьевна гуляла с маленьким сыном по набережной, подбежала Максимова. Почти девочка, но с обезображенным горем и обидой лицом, с растрепанными прядями поседевших волос. «Гуляете? Сынок? У-у-у, хорошенький! Все у вас хорошо? – Она была похожа на сумасшедшую, на казнимую ведьму. – Муж, сынок... Не-ет, не будет этого, нельзя, чтобы так! Увидишь, – Максимова затрясла перед Еленой Юрьевой тонким, костлявым пальцем, – увидишь, все увидишь! Он не допустит... Нельзя, чтобы все у вас так. Нельзя-а!»

И вот давно обе потеряли близких, родных людей, остались одни. Давно остались одни. Во всем огромном доме в триста с лишним квартир нет, наверное, уже никого, кто бы помнил то страшное время. Только две эти старухи, и они до последней минуты сознания будут носить в себе боль, ненависть друг к другу, жгущую их столько лет. Для одной тогда, в ее юности со смертью мужа закончилась жизнь, дальше – лишь однообразно темный коридор, длинный и душный; на другую лег тогда грех, в котором она до сих пор не хочет признаться даже себе, но следы которого, расплата за который изуродовали все ее дальнейшее существование.

До набережной теперь так далеко, даже и не верится, что некогда она и не замечала, как, выйдя из парадного, оказывалась у Невы. Через дорогу, отделяющую ее от набережной, Елена Юрьевна переходить не решилась – светофор, казалось, слишком быстро менял цвета, автомобили так и норовили сразу, с первым мгновением появления зеленого, рвануться с места. Просить же кого-нибудь, чтоб помогли, Елена Юрьевна не хотела. Она никогда не просила о помощи.

Прислонилась спиной к мачте светофора и смотрела вдаль, на огни родного, но так и оставшегося полужнакомым города, на каменные, тяжелые силуэты зданий, на низкое черное небо; где, то заслоняемые быстро бегущими белесыми кусками туч, то ярко вспыхивая, висели большие, частые звезды. Смотрела и не могла насмотреться, и не могла надышаться свежим, чуть солоноватым, с примесью бензиновой гари и размокшей палой листвы воздухом; в голове стучало мягко, с безысходным спокойствием: «Больше я этого не увижу... не увижу... Больше так не постою, не подышу... Последний раз». И страха не было, только желание запомнить виденное, сохранить, сбересть вкус воздуха, такой вдруг странно-дорогой, новый, словно бы первый раз она вдыхала его... Но для чего? Там ведь уже все – там все равно, пустая тьма, там ничего...

Усталость быстро высасывала силы, сдавливала тело. Елена Юрьевна развернулась и побрела обратно. Ноги гудели, и приподнимать их становилось все трудней, сердце трепетало в груди, будто схваченное сильной ручищей; из горла при выдохе летел тонкий, жалкий полухрип, полусвист. Стертые подошвы галош скользили по леденеющей кашнице снега. Трость

с силой упиралась в асфальт, после каждого шага отрывалась от него, двигалась вперед на несколько сантиметров и снова втыкалась, и на ее рукоять прилегалась всей своей тяжестью Елена Юрьевна... Очень хотелось пить, губы горели, распухший язык не умещался во рту. Теперь одна мысль всецело заполнила мозг: «Скорей бы домой... Домой, прилечь...»

...Упала она, не дойдя чуть-чуть, каких-то десятка шагов до парадного. Упала на живот, в последний момент успев подставить руку, защитить лицо. «Вот и все!» – объявил кто-то страшный, но желанный удовлетворенно и уверенно, возвышаясь над нею. «Да», – спокойно согласилась она. И ей казалось, что сырой асфальт под ней стал мягким и теплым, как перина, а рука в шерстяной перчатке – подушка... Усыпляюще постукивали капли о жесть, через окно глухо доносился однообразный долбеж современной мелодии; грустно мяукала кошка, сидя на борту мусоросборника...

Она ждала. Сейчас, сейчас поплывет, почернеет. И остановится навсегда. «Вот и все, вот и все, – повторяла она и ждала, и убеждала себя: – Как брошенная собака, больная собака у родной двери...» И хотелось умереть именно так, и чтобы вот здесь нашли ее соседи. Окопеченную, мокрую, грязную. В темном дворе, возле баков с отбросами. Ее будут жалеть, говорить о ней, обсуждать ее страшный конец... Можно лечь удобнее, перевалиться на бок, она чувствовала, что в силах сделать это, но такое положение, лицом вниз, казалось ей более страшным. Лучше, если найдут ее так... Бесконечно долбилась в стекла однообразно-тупая мелодия, кошка все так же одиноко и жалобно плакала, звала кого-то; Елена Юрьевна незаметно для себя, не желая этого, начала дремать. Толчками, дальше и дальше, повели ее отсюда куда-то... Она уверяла себя, что это не дрема, что это тянет ее в свое логово смерть. И она поверила, и с радостью следила, как угасает сознание, каждую секунду с замиранием сердца ожидая, когда провалится во мрак окончательно, освободится, отмучается...

– Ой, господи! – камнем ударил по ушам испуганный голос, и крепкие руки опасно, осторожно потянули ее кверху. – Елена Юрьевна! Боже мой!

Она не отзывалась, она большим тяжелым мешком покачивалась от толчков, с интересом парализованного наблюдая, что же с ней сделают.

– Тетя Лена, вы жи?.. Тетя Лена! Кто-нибудь! – трепетал испуганный, растерянный голос племянницы. – Что теперь...

«Вот, возвращалась со спектакля... или еще откуда там, и – вот. Неудобства ей доставляю. У них теперь это называется – напряги, – думала Елена Юрьевна, уткнувшись в шерстяную перчатку. – Пусть, пусть... Заслужить надо, а не по театрам бегать. Подожди, отдохну, и бегай...»

Наталья пыталась приподнять ее, но не могла. Побежала в парадное. Хлестнула дверь, отозвалась ей другая, застучали по ступеням каблуки сапог.

«Ушла», – уверенно сказала себе Елена Юрьевна, стала потихоньку подниматься. Сначала перевернулась на левый бок, нащупала трость. Подтянула ноги к животу и встала на карачки. Отдохнув немного – на колени.

– Ох, слава богу, тетя Лена! – появилась запыхавшаяся племянница, бросилась помогать. – Живы...

– Оставь! – прошипела старуха, сбрасывая руки девушки с пояса; сама, при помощи трости, со стоном и хрипом, поднялась. Побрела к двери...

– Собирай вещи, Наталья. Не могу я так больше. Уезжай. Завтра пойдешь с утра в ЖЭК, паспортный стол, возьмешь с собой все книжки. За все заплачено? И за свет? Все, и подавай на выписку. Не могу я...

Елена Юрьевна, измазанная грязной талой водой, в мокром пальто и валенках, сидела на диване. Племянница стояла перед ней, глядя в пол, послушно кивала. Вид у нее был, будто она давно ожидала этого. Что тетка в конце концов прогонит.

– Я думала, ты действительно... – продолжала, задыхаясь Елена Юрьевна, – а тебе лишь бы... Не хочешь, так вот порог – езжай домой. Лучше уж я одна, чем так...

Хотелось не помнить, что Наталья два с лишним месяца была почти неотступно рядом, стерегла каждое ее движение; за все время выходила только в магазин за продуктами и один раз была в Эрмитаже. Но это помнилось... Как девушка, случилось, кормила ее с ложечки, купала, стирала белье, убирала квартиру. Елена Юрьевна давила в себе эти встающие против воли картинки, для нее была важнее сейчас обида, даже не на саму племянницу, а вообще – на всю прошедшую, заканчивающуюся, но никак не могущую закончиться жизнь. Обида на жизнь – смутно мелькнувшую, манящую, непонятную и интересную, как в спешке прочитанная, сложная, но прекрасная, кажется, книга. И снова не открыть ее на первой странице и как следует, не торопясь, ничего не пропуская, не перечитать. А Наталья, Наталья пусть простит. Она просто та, на кого можно излить хоть крупицу обиды, горечи, страха, досады. И девушка, терпеливо слушая тетку, кивая, по-настоящему не верила, что та может действительно выгнать ее; когда старуха выговорила, Наталья примирительно сказала:

– Я пойду ванну наполню, вам помыться надо. Хорошо?

Елена Юрьевна, отвернувшись, слепо глядела на стеллажи. Кивнула еле заметно. И попросила выходящую из комнаты девушку:

– Наташ, не... не... потерпи. Скоро кончится. Потерпи, ладно? Ты меня поймешь... потом.

*1999 г.*

## Аркаша

Свободное время они тогда проводили так: шлялись по Невскому и окрестностям и рифмованно обстёбывали все на свете. Даже недавно выпрыгнувшего с пятнадцатого этажа в Нью-Йорке Донни Хатауэя – «Хатауэй не нашел дверей». Жалости к нему не было – тридцать три года, до которых дожил Донни, казались им неприличной старостью для музыканта...

В тот день устали так, что ноги подгибались и до тошноты хотелось есть. В горле першило от ржания. И нужно было выпить. В тепле, портвейна, под горячую закуску. Решили завернуть в чебуречную на Майорова.

На первом этаже был бар и, как всегда, играла эстрада. Поднялись на второй.

– О, привет, Жора! – увидел Михаил сидящего за столом в одиночестве чувака с длинными волосами и грустным узким лицом. Перед ним тарелка с чебуреками и ополовиненный стакан. И еще блокнот и ручка.

Чувак шевельнул губами – типа улыбнулся. Привстал и снова сел.

– Вы знакомы? – Михаил оглянулся на пришедших с ним. – Андрюша, Витя... А это Георгий из «Россиян».

Андрюша и Витя по очереди пожали руку Георгию, но представились иначе. Первый, плотненький, невысокий, сказал – «Свинья», а второй, узкоглазый и тощий, – «Цой».

– Жора, мы к тебе приземлимся? – спросил Михаил.

– Ради бога...

Взяли по порции чебуреков по-ленинградски с соусом и две бутылки «Кавказа».

Жора сидел и смотрел в блокнот. Его чебуреки оставались нетронутыми, а вина в стакане слегка уменьшилось.

– О чем призадумался?

– Так... – Жора перевернул блокнот исписанной страницей вниз, взялся было за чебурек, но не выдержал и сказал тихо, как-то скользь, словно пытаясь сделать вид, что не он выдал такую важную тайну: – У нас запись завтра.

Михаил перестал жевать, изумленно смотрел на длинноволосого.

– Гонишь.

Жора не ответил, и Михаил понял, что это правда.

– А можно с вами? Посмотреть, как вообще происходит... Жор, пожалуйста?

– Ну, я не знаю. Не я там главный... – И Жора с неохотой, с усилием, но разговорился: – В красном уголке каком-то. Еще и, понимаешь, не наша команда только, а с этим... Аркаше какому-то будем подыгрывать. Блатарь, не наша зона вообще...

Михаила снова парализовало изумление. Некоторое время он глядел на Жору круглыми глазами, беззвучно приоткрывая рот. Потом выдал:

– Аркадий Северный?

– Вроде Северный... А ты его знаешь?

– Слышал пленки... И вы с ним?

– Ну, песен пять своих споем – вот выбираю, какие будем... А потом ему, хм, аккомпанировать... Сегодня только договорились, а завтра запись. Но надо. Материала на три альбома, а ни одной записи студийной до сих пор...

– Жор, возьми побыть. Мы тихо себя вести будем.

– Вы? – Жора с брезгливостью посмотрел на жадно евших и пивших вино Андрея и Витю, которые, казалось, и не слышали разговор.

– Ну да. Они тоже музыканты. Нормальные чуваки. Пусть учатся.

Жора допил вино. Порция из четырех чебуреков по-прежнему была цела – совсем, наверно, остыла...

– Хорошо, – решил. – Только, Майк, если там начнут выгонять эти, которые с Аркашей, вы не лезьте. Я не решаю... Вообще как-то мутно всё...

– Ладно, ладно, – кивал Михаил. – Адрес черкни.

Жора вырвал лист и написал адрес.

– Не позже двенадцати.

Михаил кивнул и стал наливать ему вина.

– Не надо. Мне хватит. Завтра нужно в нормальном состоянии быть.

– Правильно.

Посидев еще минуту, Жора поднялся и, подхватив блокнот, не попрощавшись, вышел из зала... Его остывшие чебуреки Андрей и Витя поделили между собой.

Точку нашли кое-как. Она находилась на проспекте Энергетиков, где дома похожи один на другой. Огромные, серые.

Это был действительно жэковский красный уголок на первом этаже. Крошечная сценка со столом, справа от которого стояла фанерная трибуна, у стены – пианино. Традиционный для таких мест «Красный Октябрь». Напротив стола и трибуны – три ряда сидений. Таких, по четыре вместе, скрепленных рейками. На стенах висели стенды с какой-то поучительной ерундой.

– Ну вы и нарядились! – хмыкнул Жора, взглянув на Андрея с Витей. – Как на концерт пришли.

– Для нас каждый прожитый день – концерт, – довольно задиристо ответил Витя, выпятив нижнюю челюсть, и тут же смутился, отвел от Жоры глаза.

Андрей тоже хотел что-то сказать, но Михаил, оставшийся в том же пальтишке, что и вчера, опередил:

– Сядем назад. Мешать не будем, как обещали.

Кроме Жоры в красном уголке находились еще четверо парней лет двадцати пяти. Длинноволосые, у двоих усы, у одного – борода. Собирали ударную установку, подстраивали инструменты. На пришедших не обратили никакого внимания. Был и еще человек, плотненький, невысокий, довольно взрослый. Он посмотрел на пришедших с подозрением и тихо что-то спросил у Жоры. Жора так же тихо ответил, и человек, пожав плечами – мол, дело ваше, – уселся в первом ряду.

– Гля, басуха реальная! – тихо воскликнул Витя.

Андрей хлопнул его по плечу:

– Ну и у тебя скоро будет, ты говорил.

– Копим по копейкам... Сами ведь каждый день: Витя, давай твой рубль, давай рубль...

– Инструмент, – сказал Михаил, – это главное. Сначала инструмент, а потом портвейн.

– Кто б говорил, – вздохнул Витя.

Парни на сцене, кажется, закончили подготовку. Барабанщик прошелся по своим тарелкам, бонгам и бочке, спросил недовольно взрослого человека:

– Ну что, где аппарат? Уже четверть первого.

– Едут, – уверенно сказал тот, а потом не так уверенно: – Наверно, подъезжают.

– А как вообще построим процесс? – заговорил Жора, до того самоуглубленно трогавший медиатором струны своей сказочной «мусимы». – Что это будет? Мы свое играем или подыгрываем этому вашему...

– Ребятки-ребятки, – выставил руки человек, – сейчас приедет Рудик, он объяснит. Я тут так – дверь открыть, закрыть, проследить, чтоб пожара не было.

– Понятно. – Грустный обыкновенно Жора беззлобно засмеялся. И стал наигрывать на неподключенной гитаре риффы. К нему присоединился сначала бас, потом – тихо-тихо – ударные, скрипка, закапало клавишами третьей октавы пианино. Получился такой хард-рок шепотом.

том. Прекрасный и жутковатый саунд. Кажется, все ожидали, что Жора вот-вот запоет, но он не запел. И от этого прекрасная жутковатость только усилилась.

В коридоре хлопнула дверь, слышались шаги. Потом дверь хлопнула еще раз, раздались «да держи ее!», и в красный уголок вошел темноволосый, слегка кучерявый мужчина в громоздких очках, а за ним – невысокий, щупленький, чернявый, в расстегнутом пиджаке и при галстукe, с накинутым на плечи пальто. Левая рука была в гипсе и висела на бинте.

– Эт что, – хихикнул Андрей, – Юрий Никулин, что ли, из «Бриллиантовой руки»?

– Это, – голос Михаила стал строгим, как у учителя, – Аркадий.

– Этот, который блатарь?

– Тихо... Сидим и смотрим.

– Здорово, парни! – обратился к музыкантам на сцене мужчина в очках. – Готовы?

– Мы-то готовы...

– А мы тоже через пять минут.

И тут внесли пульт, громоздкий магнитофон, штативы, чемодан, из которого без промедлений, с какой-то автоматической отточенностью вынули микрофоны и стали устанавливать возле барабанов, пианино. Полетели разматывающиеся в воздухе шнуры, вонзались в розетки вилки... Это напоминало работу бригады электриков. Настоящих, а не из жэка...

Во время этой круговерти чернявый с загипсованной рукой юркнул под трибуну и через минуту вынырнул без пальто и с порозовевшим лицом.

– Стол сюда, – командовал один из электриков, – пульт сюда.

– Итак, – заговорил мужчина в очках, – объясняю положение дел. Мы хотим записать концерт Аркаши, – он указал на чернявого, – в сопровождении настоящей рок-музыки. Я слушал вас – вы настоящая музыка рок. Предлагаю такой сценарий. Сначала вы исполняете две-три свои песни...

– Пять, – с каменной твердостью сказал Жора, и мужчина, секунду подумав, ответил:

– Четыре. Четыре песни. А потом приходит Аркаша, и вы играете с ним.

– А что мы будем играть? В каком стиле? Надо порепетировать.

– Рэпетируют те, кто нэ умэет играть, – сказал чернявый; сказал вроде бы тихо, но слова ударились в стены, и стены словно завибрировали.

– Определимся по ходу, – добавил мужчина в очках и кивнул электрикам: – Ну как, готово?

Человек за пультом – «восьмиканальник», определил Михаил – стал давать команды музыкантам, выстраивая звук. Это продолжалось минут десять. Второй человек, за магнитофоном, вынул из картонного футляра огромную бобину, вставил ее в штырь, провел ленту через лентопротяжный механизм, вдел в зажим на второй бобине, пустой. Чем-то пощелкал и поднял руку:

– Готов.

– Поехали! – сказал мужчина в очках, и на магнитофоне щелкнула клавиша записи, бобины бешено закрутились.

Музыканты переглядывались растерянно.

– Ну что вы?.. Сергей, отбой... Пленка ведь тратится. У вас есть ведь эта... про мерзость.

– Давайте «Мерзость», – отозвался Жора.

– По команде... Поехали!

Снова щелчок. Жора стал пощипывать струны своей «мусимы», изображая шаги крадущегося существа. А следом ударили барабанщик, басист, вступило пианино, и потек тяжелый ритм-энд-блюз.

Жора запел:

По улице шла мерзость,

И не видна в толпе.  
Одета ли по моде?  
Одета ли как все?

Текста было мало, но песня длинная, с протяжными проигрышами, гитарными запилами, взрыдами скрипки... Михаил кивал и неслышно подстукивал ногой. Андрей и Витя смотрели на музыкантов кривясь – им по вкусу был другой стиль.

– Отлично! – сказал мужчина в очках, когда магнитофон щелкнул и бобины перестали вращаться. – Поехали дальше.

– Эту надо перепеть, – сказал Жора. – Накосячили.

– Сереж, слухани, как получилось.

Человек за магнитофоном жихнул бобинами. Послушал в наушниках и ответил:

– Акустика не очень, но в целом – пойдет.

– Можно нам послушать? – встрял басист.

– Потом послушаем, парни... Продолжаем. Про канарейку давайте. Отличная баллада.

– О, канарейка! – встряхнулся развалившийся на сиденье чернявый. – Это тема моя.

– Аркаш, ты пока отдохни... Пишем?

– Пишем, – как-то затравленно согласился Жора.

На этот раз ритм-энд-блюз был подинамичнее. Скрипка вступила сразу, пианист рассыпал гаммы. Несоответствие жестких электрогитар и скрипки с клавишами скребло, как наждачка, и в то же время завораживало.

Сладко поют канарейки,  
Хозяин – любитель пения, —

стал чеканить Жора, —

Нам слушать ваши трели,  
Пожалуй, не хватит терпения.  
Для них и солнце  
Всего лишь желтое пятно  
На фоне дня.  
Сквозь запотевшее стекло  
Напоминает цвет рубля-а...

– Ну как? – шепнул Михаил, когда песня кончилась.

– Это уже получше, – с видом предельного сноба покачал головой Андрей.

– А вы что, никогда «Россиян» не слышали?

– Может, и слышали. Но это не то, на что надо равняться.

– Равняться надо на мавзолей, – сострил Витя и снова смутился.

Четыре песни записали с первого раза. Видно было, что музыканты много раз их играли, знали свои партии до последнего аккорда.

– Так, – похлопал в ладоши мужчина в очках. – А теперь мы сделаем вот что: вы играете следующую песню, но она не идет. И тут скрипит дверь и входит Аркаша... Аркаша, ты где?

– Здесь Аркаша. – И он выскочил из-за трибуны с еще более раскрасневшимся лицом; за ним следом – пианист.

– Аркаша, мы ж договаривались, – в голосе очкастого послышались досада и раздражение. – После записи выпьем.

– Для Аркаши, Рудик, пэть и пить – синонимы!

– Майк, чего он так понтуется? – спросил тихо Витя; Михаил пожал плечами:  
– Одессит.

Человек в очках, которого, как оказалось, звали Рудик, быстро успокоился и продолжил:  
– Вы играете, но не клеится. И тут входит Аркаша... Нужно придумать небольшой диалог. Он говорит типа того, что: а вот давайте я вам покажу, как надо. И вы даете стране угля... Аркаша, что ты будешь исполнять первым номером?

Аркаша вроде как призадумался, но через мгновение вздернул брови:

– А мы в Лэнингрэде? Я тэк понимаю? Нэ ошибаюсь?

– Не ошибаетесь, – хмыкнул Андрей.

– Тэк сам бох велэл пэт про Лэнингрэд! Вот эту... – Стал постукивать ногой по сцене, отбивая ритм, и запел уже без всякого одесского выговора, но на мотив, напоминающий «Мурку» или что-то из ее разряда: – Над моим городом луна сегодня светит...

Музыканты попытались подобрать мелодию.

– Давайте блатное спрячем, – остановившись, сказал Жора. – Пусть это будет такой усталый марш. – И сыграл пару тактов.

– Я не против, – сказал Рудик. – А ты как, Аркаша?

– Можно попробовать. Будэт капля блата и вэдро лирыки!

Сыграли один куплет – кое-что получилось.

– Так, а теперь репризу, – руководил Рудик. – Ну, диалог.

Тут пришлось поломать голову...

– А у вас есть враги? – спросил Аркаша музыкантов.

– В смысле?

– Враги, конкурэнты?

– Да нет...

– «Земляне», – вспомнил барабанщик. – Они у нас песню украли и поют теперь на концертах своих.

– А вам это нэ нравится?

– Ну да...

Аркаша стал быстро ходить по сцене, соображая. Качал висящую руку.

– Давайте тэк... Вы играете, и тут прихожу я. Ты, – кивнул на Жору, – говоришь: кто нам мешает? Я говорю: Я – Аркаша Северный. Здесь рэпетирует всемирно известный ансамбль «Земляне»? А ты говоришь: нет, мы «Россияне». Я говорю: о, вас-то я и ищу. И мы – бахаем. А, как?

Жора флегматично пожал плечами:

– Ну давайте... Только я скажу: мы не «Земляне», мы одна восьмая часть – мы «Россияне».

– Так дажэ лучше! Погнали!

Но ни с первого, ни со второго раза этот диалог записать не получилось. То скрип якобы двери – для этого гнули микрофон – был слишком сильный, то Жора сбивался, то Аркаша. Наконец звуковик остался доволен, и зазвучал усталый марш, потом густой, с хрипотцой баритон:

Над моим городом луна сегодня светит,  
Видны, как днем, ладони старых площадей.  
И я иду, меня никто, никто не встретит,  
А лунный свет заставил вспомнить вновь о ней.

Луна Исакий будто вновь позолотила,  
В волшебном свете разведенные мосты.

Прошли года, пускай она меня забыла,  
Но этот город – совершенство красоты.

– Прох-ходочку! – крикнул Аркаша, и пианист, будто они заранее договорились, выдал пронизывающее душу соло.

В сиянье золота на Аничковом кони,  
Блестит золотом Суворов над Невой,  
И как живые стали юноши Фальконе,  
А тень Фальконе будто следует за мной...

После этой песни дело пошло живее. Аркаша в общих словах объяснял музыкантам, как и что играть, махал здоровой рукой человеку за магнитофоном:

– Включай, Серый!.. Перенесемся в Москву. Песня про печаль.

Ночь тьмой окутала  
Бульвары и парки Москвы,  
А из Сокольников  
Пьяненький тащишься ты.  
Денег нет. Мыслей нет.  
Машины уносятся вдаль.  
И, как всегда, со мной  
Пьяненькая печаль...  
Пьяненькая печаль-аль,  
Пьяненькая печаль-аль...

– А теперь очень грустная песня про несчастных, но коварных женщин, которых немало в наших больших городах... «Бомжихи».

Эх, у вокзала шляются бомжихи,  
Жажущие выпить и поспать,  
Голосом охрипшим очень тихо  
Предлагают время скоротать...

– А следующей песней, – Аркаша вновь переходил на одесский говорок, – хочу вспомнить своего парижского друга Алёшу Димитриевича. Поехали, «Рэссияне»!

А я милого узнаю а по походке,  
Он носит, носит брюки галифэ,  
А шляпу он носит он панаму,  
Ботиночки он носит а «Нариман».  
А шляпу он носит он панаму,  
Ботиночки он носит «Нариман»...

– Песня о конце гражданской войны!

Четвертые сутки пылают станицы,  
Потеет дождями донская земля.  
Не падайте духом, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, налейте вина.

А где-то лишь рядом проносятся тройки,  
Увы, не понять нам загадочных лет, —

по лицу Аркаши скользнуло замешательство, словно он забыл слова, но вступил со следующей строкой вовремя:

Не падайте духом, поручик Голицын,  
Корнет Оболенский, налейте вина.

Когда песня закончилась, мужчина в очках заметил:

– Так и не хочешь комиссаров вставлять. А такой ведь образ: «А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет».

– Не лежит душа, Рудик. Ну вот не лежит и всё. Не могу про комиссаров петь.

– А так не в рифму получается.

– Шо ж... Следующая песня...

Раза три Аркаша успевал нырять под трибуну. Прихватывал с собой и пианиста.

– Олег, – хлопал его по плечу, – ты отлично чувствуешь мой стиль. Специально учился?

– Да я в «Кронверке» играл.

– О, хорошая школа! Продолжаем?... А теперь песня про пагубную зависимость под названием «Анаша»...

Опьянение Аркаши, которое проявилось в том, что голос его стал напоминать покрикивания алкашей у павильона, совпало с окончанием пленки.

– Всё, – объявил человек за магнитофоном. – Генуг.

– Ну и ладненько.

Музыканты, Рудик столпились возле магнитофона и стали слушать куски записи, а Аркаша забрал из-под трибуны пальто и недопитую бутылку вина и спустился к Михаилу, Андрею и Вите.

– А вы кем будете, молодые люди?

– Музыканты.

– Это понятненько. А так? – Прищурился. – На стилияг вроде не похожи, и на хиппи...

– Мы – панки, – гордо сказал Андрей.

– М, не слыхал про такое... А звать вас как?

– Майк.

– Свинья.

– Цой.

– Цой? Не вьетнамец, случаем?

У Вити зашевелились скулы. Он ненавидел, когда его называли японцем, китайцем. Теперь вот во вьетнамцы пытаются записать.

– Я не в обиду, – заметил Аркаша его реакцию. – Дело в том, – он понизил голос, – что я воевал во Вьетнаме. В небе Вьетнама. Бил американскую военщину с вертолету!..

– Да? – Михаил усмехнулся. – Мой папа тоже был во Вьетнаме. Не воевал, правда, в командировке. Он архитектор.

– Ясненько. – И Аркаша перевел разговор на другую тему: – А что это за панки такие?

– Хм, – Андрей потер переносицу, – придурки круглые. Но с идеей.

– Сейчас все лучшие люди идут в панки, – добавил Витя.

– И что ж за идея?

– Свобода, анархия...

– Хорошая идея, молодцы. В моем репертуэре про стилиг есть. Слыхали про таких?.. Каждый должен быть вызывающе одетым, тот плебей, кто не носит узких брюк. У меня пиджак каучукового цвета и на толстых подошвах каучук, о-хо!..

– А вы сами песни пишете? – спросил Майк.

– Да как сказать... Народ пишет, ребята. Народ. А я пою... Я, – голос стал трезвее, – под одной песней только могу подписаться. Про жену... бывшую жену. И про дочку. – И Аркаша напел: – Здравствуй, чужая милая, радость мечты моей. Как бы тебя любил бы я до самых последних дней... Нет, нельзя ее сейчас... В другом надо состоянии. – И протянул бутылку ребятам: – Вздрогните.

– Да у нас есть вообще-то, – Михаил вынул из-под пальто бутылку портвейна. – Мы просто... ну, опасались во время записи.

– А-а, – отмахнулся Аркаша, снова став разбитным и пьяным, – алкоголь – это наша жизнь. Живая вода. Пэйте!

Посмотрел, как Михаил откупоривает бутылку, как они гонят по кругу, делая по два-три жадных глотка, и сказал:

– Но это до момента.

– В каком смысле? – напряг брови Витя.

– Потом оно, – Аркаша болтнул бутылкой, – всё остальное заполняет. Без него – никуда. Не поется, не живется. Но эт не сразу. Есть период, когда совмещается... – Он присел и отпил из своей бутылки. – Я вот умру скоро. Отходил по свету. На десять лет больше ходил, чем Сережа... Сережа Есенин... Слыхали о таком? Ты меня не любишь, не жалеешь... Ох-х... – Потер лицо всей пятерней, узкой, нерабочей. – Вот выпил-то всего-ничего, и в уматину. А раньше литруху водяры мог всандалить, и только жить начинал. Себя чувствовать. А теперь – вот. – Развел в стороны руки, выпятил узкую, тощую грудь. – И пузыря винищева – с крышкой... Обидно. У нас в Иваново таких не любили...

– Где? – спросил Майк.

– В Иванове. В городе Иванове.

– А вы не из Одессы, что ли?

– Бывал-бывал. Бывал в Одессе. Даже по морде от любимого человека получал. Несправедливо, считаю. Ни за что. Обидел он меня... Но сам я из Иваново. Город такой в России. Только это, – вдруг словно вспомнив о чем-то важном, Аркаша прижал палец к губам. – Это – тайна пока. Умру, тогда уж... И, – он глотнул еще вина, – и во Вьетнаме я не был. Вертолетчиком – был. Штурман! Честно! Лейтенант запаса!.. Братья-офицеры вот руку сломали. По ошибке. С другим спутали... А я-то... Я так... Если честно, ребята, то я был обыкновенным, таким, как все. Был такой, как все. – И он поморщился; Михаил повторил гримасу, неосознанно запоминая это движение лица, эти слова. – Учился, работал, женился, дочка родилась... Дочка – это святое, конечно. Жена запрещает с ней видеться. Спасибо теще. Теща у меня золотая. Теща меня понимает... Понимает, что не могу я как все... Возле детского садика с дочкой вижусь. А теперь возле школы уже. Время-то летит. – И Аркаша коротко напел, пустив одесскость: – Годы мчатся, годы мчатся бэз возврата... – Но остановился, помял лицо ладонью и снова стал шуплым простым мужичком. – Теща ее заберет пораньше... меня-то они тоже, воспитки, училки, близко не подпускают... приведет на лавочку, и мы сидим с дочкой. Конфет покупаю, смотрю на нее... Но разве это ей надо... да и мне... Но не вернуть... Потом, может, поймет, когда вырастет.

Аркаша отхлебнул еще из бутылки, громко и смачно; Михаил, Витя и Андрей тоже прогнали свою.

– Вы вот музыканты, говорите?.. Если серьезные – хреново вам будет. Готовьтесь. Ни семьи путной, ни дома надежного, да и петь будете по углам. Как вот сейчас, – кивнул он

назад, в сторону сцены. – Вы ж не Кобзоны, вам Кремлевский дворец не откроют. Хе-хе. А я вот без паспорта, без квартиры, семьи, мля... Сегодня вору пою, завтра членам Политбюро, хоккеистам нашим, чемпионам... Налют, покормят, спать положат на диванчик. Жизнь!

И Аркаша захохотал хрипло и зло, обнажив искрошенные, с дуплами зубы. Он был совсем пьяный и сразу сделался таким отвратительным, что парни, любившие показывать себя как можно хуже, называвшие себя «звери», поежились и отвели взгляд.

– Чего? Не нравлюсь? – заметил Аркаша. – А ведь был таким – не выделялся. Утром на работу, вечером – с работы. Ужин с женой, «Международная панорама»... Но не мог я так... Повело меня... упирался... и всё равно... Заплутали мишки, заплута-али, заблудились в паутине ули-иц... Могу спастись, в Иваново, домой уехать. Мать у меня там, братья есть... А зачем? Не хочу просто жить... тихо-мирно. Допою и подохну здесь где-нибудь, среди камней... как Сережа.

– А вы правда с Алешей Дмитриевичем дружите? – перебил его Михаил.

Аркаша скривил лицо:

– Гоню я, чуваки... Не дружу. И не видел никогда... Просто... Просто скучно жить вот так вот – просто. Вот и сочиняю... Хотел бы дружить, спеть с ним, посидеть... А – вот... – Он снова развел руками, и та, что в гипсе, тупо ударилась о спинку сиденья. – Лучше сочинять, чем с тоски повеситься. – И перешел на одесский говорок: – Нэ прэвдэ ли, гэспода?

– Ну всё, – громко сказал человек по имени Рудик. – Всем спасибо. Мы посидим еще с пленкой, почистим, а потом передадим вам копию... Аркаша, по коням!

Тот, хоть и шатаясь, как деревце в бурю, послушно поднялся, побрел к выходу. Михаил, Витя и Андрей тоже пошли на улицу – очень хотелось курить.

Понаблюдали, как поскуливающего, пускающего слюни Аркашу запикивают в «жигуль», и направились к автобусной остановке. Прощаться, базарить с ребятами из «Россиян» не хотелось... Михаил не так представлял себе запись в студии. Да и Аркадия тоже – не таким. Конечно, чувствовал по манере пения, что он не прочь выпить, наверняка прикинут не в ширпотреб, может, и с кольцами на пальцах, но реальный Аркадий – Аркаша – его словно пришиб к земле.

Напился быстро и как-то тупо, одет хоть и в костюм, при галстукке, но от этого казался еще ничтожней, что ли, комичней. Вместо колец – гипс, обернутый грязным бинтом... И эти его признания... Хотелось забыть, но мозг как назло прокручивал то, что было в красном уголке, что говорил Аркаша...

– А я не испугаюсь про комиссара петь! – сказал Андрей.

– Ты о чем?

– Ну, этот испугался, а я не испугаюсь. Такое что-нибудь: пуля пролетела, в грудь попала мне, но спасуся я на лихом коне... – Андрей замылся, вроде как подбирая слова. – Но шашкою меня комиссар достал, кровью исходя, на коня я пал... А? Потянет?

Михаил остановился:

– Это ты сочинил? Сейчас прямо?

– Ну. – Круглое, полное лицо Андрея-Свиньи стало еще полнее из-за улыбки. – Будем считать, народ сочинил... Но я, – голос его стал строгим, – буду это петь.

– А мне про анашу запало, – вставил Витя. – Анаша, анаша, до чего ты хороша... Включу в свой репертуэр.

– Всё, пошли, – сказал Михаил. – Холодно.

Ему хотелось в родной центр – на Невский, Жуковского, Владимирский...

– Ну так согреемся. – Андрей вытащил из своего модного до неприличия, просторного плаща бутылку портвейна с заранее срезанной пластмассовой пробкой.

Сделали по несколько хороших глотков сладкого и слегка обжигающего, и Михаил, сам не ожидая от себя, сказал:

– А ведь он прав, Аркадий.

– В чем этот соловей ощипанный может быть прав?

– Андрюша, не оскорбляй людей. Оскорбляй себя... Кстати, назовись Свином – Свинья, это женского рода... Прав он – не слишком веселая нас жизнь ждет, если мы по этому пути пойдем.

– По пути алкоголизма? – усмехнулся Витя.

– Музыки честной... А ведь мы пойдем?

Андрей поднял бутылку над головой:

– Вперед, к победе панк-рока!

Через год с небольшим Михаил, для многих в городе успевший стать Майком, начал работать над своим первым альбомом. Готовился долго и тщательно. Узнал, что в театре кукол главный режиссер, Виктор Борисович, большой демократ и разрешает по ночам использовать студию для записи бардов.

Устроился техником-радиотом, познакомился со звукорежиссерами, постепенно стал напевать им свои песни, и в конце концов один из них, Игорек, спросил:

– А у тебя пленка есть?

– Что? – Майк сделал вид, что не понимает. – Какая пленка? – И осторожно отложил гитару.

Игорек недоуменно округлил глаза:

– Ну как, пленка с твоими песнями!

– Да откуда? Это ведь, говорят, надо аппаратуру, микрофон... – Он изо всех сил хотел выглядеть чайником в делах звукозаписи, хотя попытки записаться были, но не в студии – на квартирах, на берегу Невы.

– Так, – Игорек ударил пальцами по столу, – тебя необходимо увековечить. Я договорюсь с Виктором Борисовичем...

Дня через три Игорек объявил:

– Завтра вечером, после десяти, первая сессия. – И показал лист с автографом главрежа: «Разрешаю использовать студию для экспериментальной записи...»

Когда назавтра Майк вошел в привычное помещение студии, то не узнал его. Всё было, конечно, как всегда, но значимость этого места изменилась. Сейчас здесь будет происходить самое главное событие в его, двадцатипятилетнего человека, жизни. На магнитофонную пленку будут ложиться его голос, его мелодии. Выхватываться из воздуха, из сгорающих в полете времени секунд и ложиться на коричневатую полоску, оставаться, может быть, и навсегда. Превращаться в то, что можно сохранять бесконечно долго. До конца времен.

Конечно, такое вслух Майк бы никогда никому не сказал, но подумать-то было можно. Почти десять лет сочинял песни, три года мечтал о настоящей записи. И вот – сбывалось...

В ту ночь они записали четыре номера. В следующую – два. Потом, с разрешения Игорька и его напарницы и начальницы Аллы, Майк привел друзей, Славу и Бориса. Понадобились вторая гитара и подыгрыш на губной гармошке. Борис принес с собой портвейна.

Записали песню, выпили по полстакана, занялись следующей.

Майк стоял с гитарой по центру студии и глядел на черный, в мелких точечках, будто исколотый булавкой, микрофон, свисающий с потолка. Второй микрофон, торчащий на согнутом штативе, приготовился хватать звуки гитары. В углу студии, у третьего микрофона, был Борис с гармошкой.

Звукорежиссер Игорек в отделинной от основного помещения стеклянными рамами будочке, отрегулировав громкость, частоты, наконец дал команду начинать. Слава стоял рядом с ним и держал в руке стакан...

Открой бутылку – треснем зелья, —

запел Майк, отыграв вступление, —

Необходимо ликвидировать похмелье,  
Иначе будет тяжело прожить этот день...  
Как вкусно пахнет, явно щами...  
Мой разум занят очень странными вещами...  
Я ничего не хочу – мной овладела лень...

Песня была динамичная, почти веселая по манере, несмотря на не очень-то веселый текст. Слова Майк знал наизусть – тогда он все свои песни знал наизусть, – но на середине чуть не сбился: в будочку вошел главреж. Не просто вошел, а нахмурил брови, увидев вино возле пульта.

Горячий душ и легкий завтрак,  
И мы идем гулять...  
Но скажи, почему меня бросает в дрожь,  
Когда ты пытаешься меня обнять? —

допел Майк, сыграл еще четыре фразы, дав Борису оторваться на гармошке. Потом положил шестиструнку на стул и пошел в будочку, предчувствуя нехорошее.

– Здравствуй, Виктор Борисович, – поздоровался вежливо и даже слегка поклонился. – Мы вот... работаем.

– Да я вижу. – Главреж, наверняка мягкий по природе, в силу своей должности обязан был проявлять твердость и иногда жесткость; за портвейн вполне мог прикрыть лавочку. – Вижу и слышу... Что-то печальные у вас песни, Миша. Мне вот Алла дала послушать – «отмою с паркета кровь и обрету покой», «интересно, с кем ты провела эту ночь». Вот, скажут, каким творчеством занимаются в Большом театре кукол... А вообще, Миша, – Виктор Борисович сменил тон, и стало ясно, что до сих пор он говорил не вполне всерьез, – вы очень талантливы. Не думал, что у нас такой радист. Вы, по-моему, талантливей Северного.

– Кого? – охрипшим голосом спросил Майк. – Аркадия Северного?

– Да-да, его имею в виду. Он, кстати сказать, записывал здесь свои песни... Жаль, умер, а вполне еще молодой человек...

Чувствуя, что выглядит глупо, задавая один вопрос за другим, Майк все же не удержался:

– А он умер?

– Да вот недавно, в апреле, по-моему. Говорят, зал крематория был переполнен. Жаль, жаль, уникальный был голос.

– Гм... Так он здесь умер, в Ленинграде?

– Да, конечно, – слегка как-то с удивлением произнес Виктор Борисович. – Здесь жил, пел, здесь и умер.

Но Майку представились берег моря, деревья – то ли кипарисы, то ли платаны...

– А я люблю очень одну песню, которую Северный исполнял, – сказал он. – Ну, не только он... «Панама» называется. «Я милого узнаю по походке...»

Главреж кивнул:

– О, чудесная песня... Что, нальете капельку?

Выпили. Майк, которого не отпускало известие о смерти того, с кем год назад довелось познакомиться и тут же расстаться, как теперь стало понятно, навсегда, предложил:

– А давайте спою ее... Песню. Может, и запишем.

– Запишем? – брезгливо-недоуменный голос Бориса. – Ты всерьез?

– А что – пусть останется... Игорь, запишешь?

Звукорежиссер пожал плечами и сел за пульт.

– Я не участвую, – сказал Борис.

Прав он, конечно, – эта песня из другой оперы может сорвать настрой, разрушить атмосферу, и работа над альбомом застопорится. Но нужно было спеть. Сейчас. Именно в эти минуты.

Майк поднял гитару, перекинул веревочку, заменяющую ремень, прошелся пальцами по струнам. Всё в порядке. Вопросительно взглянул на Игорька. Тот кивнул, мол, поехали. И Майк, мгновенно повеселев, отчеканил в микрофон:

– Любимая песня, хит номер один!

Пел, закрыв глаза, и видел Витю, с которым ходили тогда на запись, в каком-то подвале, перемазанного черным, но веселого, с гитарой. И Витя горланил: «Анаша, анаша, до чего ты хороша!» Потом увидел Андрея-Свина. Тот, сидя на корточках на балконе старого ДК с колоннами и лепниной, кричал без музыкального сопровождения толпящимся внизу, странно и дико одетым: «Шашкою меня комиссар достал!» Увидел какого-то незнакомого, давно небритого парня, похожего на гопника, который стоял на огромной сцене, освещенной разноцветными огнями, и этот похожий на гопника печально, но громогласно благодаря мощнейшим колонкам жаловался: «Пьяненькая печаль, пьяненькая печаль».

Увидел Майк старика в квартире. И в окне той квартиры, раскорячив ноги-опоры, торчит Эйфелева башня. Майк каким-то чутьем угадал: это Алеша Дмитриевич, хотя не знал, как он выглядит. Старик грустно ждет своего друга, которого никогда не встречал и который к нему теперь не придет.

– В Париж, в Париж, – выкрикивает ему Майк, – он больше не вернется! Оставил только карточку свою...

Увидел и самого себя. Сначала обычного, каким видел себя каждое утро в зеркале. Он стоял на сцене, но попроще, чем та, на которой стоял гопник; он только что спел что-то и слышит в наступившей тишине возмущенное: «Что это за питерский уголовник целый час поет блатные песни под видом рок-н-ролла?» А потом увидел себя нестарым, но толстым и седым. Он сидит в незнакомой комнате, но со знакомыми, его, плакатами на стенах, книгами в шкафу. И он, толстый и седой, одинокий, хотя у него есть жена, есть ребенок – но они не с ним, – поет эту же песню...

Майк ударил по струнам. Открыл глаза. Игорек тряс сжатым кулаком с выставленным большим пальцем, Виктор Борисович поднимал руки для аплодисментов. Гитарист Слава, изумленно открыв рот, застыл у стены. Борис, красиво подперев подбородок кистью руки, смотрел в пол... В студию заглядывала светловолосая девушка Наташа, с которой Майк гулял уже почти год, но не решался даже поцеловать, а теперь понял, что она будет его женой; Наташа держала в руках лист с эскизом обложки его будущего альбома.

Моргнул; Наташа исчезла, остальные ожили, задвигались, главреж хлопал громко, как школьник.

– Какой интересный портвейн, – сказал Майк, – можно еще полстаканчика?

2018 г.

## Дочка

### 1

По образованию математик, он появлялся на пороге поистине с математической точностью – в одиннадцать часов утра каждую вторую и четвертую субботу месяца. И в эти дни Борис Антонович не спешил на звонок в дверь: знал – все равно придется звать жену, а открывать этому непонятному, странному человеку, родному отцу его Алинки, впускать в квартиру, находиться с ним один на один хоть самое короткое время было, конечно же, неприятно.

Когда в прихожей раздавались приветственные фразы, Борис Антонович через силу поднимался с кресла и шел здороваться.

– Добрый день, Сергей, – искусственно-гостеприимно произносил и протягивал руку.

– Добрый, добрый, – как-то машинально, будто в этот момент был занят решением сложной теоремы, кивал гость и так же машинально, небрежно, некрепко отвечал на рукопожатие.

Сергей никогда не бывал таким же, как две недели назад, и порой Борис Антонович замирал в недоумении – тот ли человек в прихожей? И требовались усилия, чтоб убедиться: да, он самый, Сергей Стрельников, Алинкин отец, и поэтому имеющий право приходить сюда.

С прошлого визита он мог измениться неузнаваемо. То являлся в облике настоящего денди – светлый, блестящий костюм, идеальные стрелки на брюках, лакированные остроносые туфли, и лицо свежо, надменно, верхние веки томно приопущены, на лоб падает густая прядь душистых волос. А спустя четырнадцать дней у вешалки топтался сгорбленный алкаш с Московского вокзала в затасканном, истертом пальтишке, мятых штанах, в расползающихся ботинках; волосы торчали в разные стороны перьями, а взгляд был тусклый, как у старой, издыхающей собаки. И Борис Антонович невольно становился заботлив, почти ласков, чувствуя, что этому человеку уже недолго, совсем недолго осталось... Но в следующий раз Сергей превращался в жизнерадостного бородатого хиппаря в пестрой рубашке, с расшитым бисером ремешком, обнимающим волосы, а затем мог предстать ковбоем из вестерна, или буддистским монахом, или облаченным в черную кожу дипёрплом...

Он напоминал Борису Антоновичу артиста, непрерывно играющего совсем разные роли, да так оно, в общем-то, и было – закончивший когда-то с красным дипломом факультет прикладной математики, Сергей бросил престижную и денежную работу и сделался андеграундным театральным режиссером; вскоре после этого он развелся с Ириной, ночевал по знакомым, снимал комнатенки на окраине, хотя, как знал Борис Антонович, у родителей Сергея – трехкомнатная квартира... Сергей давал нелегальные спектакли, имел из-за этого неприятности, но и влиятельных защитников, которые вроде бы помогли ему оформить липовую инвалидность второй группы, позволяющую официально нигде не работать.

Его денежное положение, подобно нарядам, менялось чудесно и беспрестанно. То он был совершенно нищим, бессильным; Ирина всплескивала руками, вела бывшего мужа на кухню, кормила, даже наверняка давала какие-то рублики, но через две недели он входил, выпятив грудь, держа в руке (значит, вынимал из кармана еще в парадном) пачку ярко-красных, веселых червонцев, улыбался горделиво Борису Антоновичу, зная, что его зарплата – сто сорок рублей – мала и неизменна. А здесь, на ладони, разом – рублей двести.

И в такие моменты, в моменты триумфа странного, непонятного, неприятного человека, Борис Антонович, наскоро бросив свой «добрый день», уходил в комнату, садился обратно в кресло, делал звук телевизора громче. И становилось досадно и стыдно, что он не может вот так же козырем вплыть домой, в эту не свою-то по существу квартиру, с пачкой неожи-

данных денег, улыбнуться горделиво, по-хозяйски. Да-а... Но тут же, как защита и оправдание, вспоминался Сергей скрюченным от водки и голода, в измазанном известкой пальтишке, представлялось, как жадно, давясь, он хлебает подогретый вчерашний супик. И это второе, незавидное состояние бывшего мужа Ирины каждый раз оказывалось сильнее, и Борис Антонович успокаивался, почти радовался своей, пусть далеко не богатой, зато стабильной зарплате и даже никогда не унижался вопросом, берет ли Ирина червонцы; да нет, она, конечно, брала – после таких пачек рацион их питания становился заметно лучше, у Алинки появлялись новые игрушки, одежда, а Ирина на какое-то время становилась задумчивей, чем обычно. Может, взвешивала, перебирала прошлое, настоящее, сравнивала. Борис Антонович делал вид, что не замечает ее состояния...

Жизнь его самого складывалась и текла без ухабов и взлетов – ровно, нормально. Единственное, что у некоторых вызывало удивление, это его профессия, не совсем как бы мужская.

С детства он полюбил книги, и полюбил странновато – как вещи, как изделия вроде шкапулки, вазы; он мог подолгу разглядывать обложку, корешок, изучать, каким образом сшиты или склеены страницы, толстая или тонкая на книгу пошла бумага, но не прочитать в ней ни строки... Когда после окончания школы пришло время делать выбор, куда поступать, Борис Антонович выбрал полиграфический институт.

Может быть, из-за отсутствия приятелей-однокурсников (учились в основном девушки), а скорее из-за своего от природы тихого, спокойного характера, он все пять лет не выделялся, и студенчество позже не вспоминалось ему как веселое, романтическое, бесшабашное времечко... С распределением повезло – остался дома, взяли младшим технологом в типографию № 2, что на Измайловском проспекте. Там он сидит и теперь, слева от входной двери в огромном, но забитом столами и шкафами кабинете производственного отдела, состоящего из десятка немолодых, вечно озабоченных семейными делами женщин-сотрудниц.

Да, слишком незаметно пребывал на своем месте Борис Антонович – так называемого карьерного роста ему не светило. К тому же и текучки кадров в их отделе не было (как утверждали старые сотрудницы) с конца сороковых годов, даже проводы на пенсию становились чуть не сенсацией...

Как-то очень быстро и плавно, легко из двадцатидвухлетнего выпускника вуза Борис Антонович превратился в усердного и типичного – козырек брюшка над брючным ремнем, залысины, потертый, удобный портфель в руке – служащего. Да и был ли он молодым в том значении слова, когда некуда деть энергию, хочется прыгать и сворачивать горы... Просыпался по будильнику в семь утра, без четверти восемь входил на кухню, где мать собирала завтрак. И дальше – по установившемуся еще с детсадовского возраста распорядку. Только маршруты поездок с годами немного менялись. Как к группе или позже к классу, или институтской аудитории, теперь он привык к своему производственному отделу, к вечно заваленному макетами обложек, линейками, таблицами, пленками с цветоделением столу; привык к чаепитиям с овсяным печеньем каждые два часа, привык боязливо удивляться гонцам из печатных цехов, привык к комплексным обедам в столовой и даже к однообразным, нескончаемым жалобам сотрудниц на подгулявших мужей, растущих и требующих всё больше затрат детей (внуков), на дефицит, на сосиски, что стали совсем несъедобными...

Около семи часов вечера Борис Антонович возвращался домой, переодевался, пока мать собирала на стол к ужину. Поев, сидел в кресло перед телевизором. Мать устраивалась на диване, пару раз в неделю интересовалась: «Как на работе?» И он чаще всего лишь пожимал плечами в ответ: «Да нормально».

А потом, в кровати, под мягким одеялом, в темноте, когда хотелось скорее уснуть, приползала тоска. Именно приползала – медленно, неспешно-уверенно, как хозяйка. Тормошила, разлепляла ему глаза, обхватывала колючей петлей, стискивала горло. И Борис Антонович (а

тогда двадцати-с-небольшим-летний Борис) ворочался, покашливал и постанывал, поправлял и поправлял подушку, пытался думать о том, что завтра нужно в первую очередь сделать на работе, прокрутить в памяти понравившийся фильм, помечтать, что вот в ближайшую субботу возьмет и съездит куда-нибудь в Гатчину или в Пушкин, или хотя бы прогуляется по Невскому, зайдет в Эрмитаж... Но все эти блеклые мысли-обманки заслонялись, стирались желанием быть с женщиной, и представлялась в темноте отчетливо и ярко неожиданная красавица, увиденная днем из окна трамвая, или Алферова из телевизора, или румяная, в белом халате разливальщица первого из типографской столовой...

Он, конечно, пробовал, пытался с кем-нибудь познакомиться, даже начал курить, чтобы бывать в курилке на втором этаже, где часто стояли – в правой руке сигарета, левая подоткнута под грудь – молодые женщины из бухгалтерии. Здоровался, раскуривал горькую сигарету, пообвыкнув, выдавал женщинам неуклюжие комплименты, бывало, отваживался рассказать вычитанный в «Крокодиле» анекдот, но в глазах бухгалтерш не видел того огонька, с каким, по его мнению, должна смотреть женщина на заинтересовавшего ее мужчину, и не шел дальше комплиментов и анекдотов, кое-как докуривал, глядя в окно на бегающие туда-сюда электрокары, на бухты серой бумаги под навесом... Он очень ждал отмечаемых в коллективе праздников, дней рождения, но и здесь всё заканчивалось анекдотом, комплиментами, вежливыми улыбками в ответ, в лучшем случае – провожаниями до остановки такси...

Позже, чтобы отбиться от одуряющей, изматывающей предночной тоски, Борис Антонович стал покупать водку и тайком от матери выпивал перед сном граммов двести. В голове мутнело, он ложился, разбрасывал в стороны руки и ноги и постепенно, баюкаемый алкоголем, засыпал... Он стал смиряться с тем, что ему, видимо, суждено остаться холостяком. Внешне невозмутимым, немногословным, с массой заостренных привычек и правил; быть всегда в курсе международных событий, а на старости лет сделаться завсегдатаем шахматных баталий во дворе... И вот, уже перестав на что-то надеяться, он встретил Ирину.

Познакомились настолько случайно, что и через годы, вспоминая, ему становилось то весело от счастья, то до озноба, до оторопи страшно. Ведь этого не должно было случиться: ему, Борису Антоновичу Губину, суждено было продолжать и продолжать ту невыносимую, но и единственную, длинную жизнь с вымученными комплиментами равнодушным бухгалтершам, с односложными бодроватыми ответами матери: «Всё нормально!» – в тот момент, когда хочется зарычать, завывать; ему суждено было засыпать, лишь влив в себя полбутылки водки. А вот – бах! – и у него семья, у него жена и девочка, которая называет его папой...

В то лето, в августе семьдесят девятого, сестра Бориса Антоновича с мужем уехали по путевке в Питкеранту, а своего трехлетнего Павлика оставили на бабушку – на мать Бориса Антоновича. Мать в то время еще работала, мальчика водила в садик. И тут у нее, в самое, казалось, неподходящее время, случился аппендицит, обязанности няньки пришлось исполнять Борису, даже переехать на квартиру сестры и ее мужа.

Да, побесился он тогда, пометался: утром Павлика в садик, потом на работу, потом в больницу к матери, потом снова в садик... Как-то, уставшим и злым на весь свет, приехав забирать племянника, он увидел возле детских кабинок темноволосую, лет тридцати, тоже, казалось, донельзя измотанную женщину. Она одевала девочку. По принятой в садиках традиции, Борис Антонович поздоровался с ней как со старой знакомой и стал заниматься Павликом.

– А я быстрее! – объявила девочка, когда мать натянула ей на голову розовую панамку.

Павлик надулся, недовольно засопел, совсем как кавалер, уличенный дамой в слабости.

– Прекрати, Алина, – строго сказала женщина. – Ты и одеваться раньше начала.

Но девочка не послушалась:

– Всё равно быстрее. Я – первая!..

– Алина!

Чтоб показать, что всё нормально, Борис Антонович похвалил:

– Здорово дочка у вас уже говорит. Как взрослая.

– Спасибо, – последовал бесцветный ответ, и женщина со своей Алиной вышла из группы.

«Загнанная лошадка», – тоже бесцветно, без грусти и сочувствия подумалось Борису Антоновичу; он присел на корточки, стал неумело застегивать Павлику сандалики...

Увидел их через минуту на площадке, с трех сторон окруженной стенами без окон. Девочка пыталась перекувырнуться на низеньком турничке, а мать стояла рядом и наблюдала.

Павлику тоже захотелось поиграть.

– Только пять минут, – разрешил Борис Антонович. – Хорошо?

– Аха! – уже мчась к жестяной космической ракете, тряхнул он головой.

Борис Антонович потоптался на дорожке и подошел к женщине.

– Хороший вечер сегодня, – выдохнул с показным, как бы полнейшим удовлетворением и тут же понял, что произнес самую банальную фразу на свете; стало стыдно за себя до щипанья глаз, и он добавил: – Извините.

– Да ничего, – усмехнулась женщина.

Ее дочка соскочила с турничка и перебежала к Павлику. Он тут же крикнул:

– Поетеи! – Спрятался в ракете, загудел губами.

Женщина села на скамейку, где обычно дежурили во время прогулок воспитательницы...

Борис Антонович вытащил пачку сигарет, открыл, посмотрел на рыжеватые фильтрики, спрятал обратно в карман и тоже присел.

Постепенно, через покашливания, междометия, вздохи, разговорились. И с каким-то небывалым для себя пылом, увлечением Борис Антонович стал рассказывать о своей работе, о том, как и какие книги делает, и как важно подобрать на обложку нужные цвета, как сложно высчитать правильно толщину корешка, чтоб книга получилась не перекошенной, не уродливой... Женщина, поначалу неприветливая, строгая (или все-таки скорее до предела усталая?), оказалась довольно общительной и симпатичной. Слегка, правда, портили ее загнутые книзу уголки губ и вялый, снулый какой-то голос. Но это как раз и вызывало у Бориса Антоновича нежность к ней – хотелось сказать что-нибудь остроумное, чтобы она засмеялась, осторожно провести пальцем по ее губам, распрямить... Точно бы отзвываясь на его искренность, женщина рассказала, что работает в проектировочном бюро, что разведена, зовут Ирина, сама родом из Окуловки... Это недалеко от Малой Вишеры, на железной дороге Ленинград – Москва поселок такой... городок...

Дня через три, придя за племянником и увидев в группе девочку, Борис Антонович решил дожидаться Ирину, и, хотя Павлик не хотел на этот раз играть, они минут сорок проторчали возле жестяной ракеты.

Сближение продвигалось медленно, прерываясь на недели, а потом Борис Антонович, опомнившись, мчался после работы в этот садик, караулил Ирину... Спустя месяцев пять после их первой встречи она согласилась пойти с ним в кафе, еще через полгода Борис Антонович сделал ей предложение. Вместо согласия Ирина ответила другим предложением: просто жить в одной квартире. И он в тот же вечер, под недоуменно-оскорбленным взглядом матери, собрал самые необходимые вещи, переехал... Вскоре – без всяческих торжеств, подчеркнута буднично – расписались в районном загсе.

Отчетливо, в подробностях, будто это тоже был знак судьбы, Борис Антонович запомнил первую встречу с родным отцом Алины. Именно встречу, еще не знакомство.

Вот так же, в одиннадцать часов, в субботу, затрещал звонок. Они как раз все вместе сидели на кухне, пили чай. Ирина, Алинка и он... Это было одно из первых утр Бориса Антоновича здесь, и особенно ярко ощущалось счастье, вдруг обретенные полнота и сладость жизни.

Он пил, казалось, вкуснейший чай, хрустел печеньем и собирался предложить Ирине с Алиной отправиться в город – в зоопарк или в Летний сад... Звонок.

Ирина вздрогнула, точно ее кольнули, по лицу серой тенью пробежал испуг. Посмотрела на стенные часы, что-то досадливо шепнула себе, вскочила, затянула пояс на халате, быстро ушла в прихожую. Дверь кухни прикрыла.

– Привет, друг! – слегка хриловатый, но проникновенный, цепляющий за душу даже этой короткой фразой голос.

И сдержанный, холодный ответ Ирины:

– Здравствуй.

Уже догадавшись, кто это, Борис Антонович глянул на Алинку. Она раскладывала печеньки на скатерти, меняла их местами.

«Значит, не очень скучает», – с облегчением и почти радостью подумал...

Ирина почему-то – и с первых недель знакомства – много рассказывала ему о своем бывшем муже, с которым и прожила-то чуть больше двух лет, объясняла, какой он талантливый математик, умница, как ему прочили огромное будущее, но который «взял и свихнулся на своей студии».

«Какой студии?» – не понял в первый раз Борис Антонович.

«Ну, – Ирина болезненно поморщилась, – театральной. Режиссером себя возомнил. Ни образования, ничего, а вот... А, детский сад! Искорежил жизнь и себе и всем...»

Она говорила о Сергее всегда как-то с трудом, точно бы по чьему-то приказу, и вспоминала, ругала его лишь тогда, когда оставалась с Борисом Антоновичем наедине. Он понимал: к своему бывшему мужу, этому свихнувшемуся математику, она до сих пор равнодушна, и развод, хоть и произошедший по ее инициативе, больше напоминал последний шанс ему одуматься, вернуться в семью, в нормальную жизнь. Да и рассказывала Ирина об этом Борису Антоновичу, своему новому мужчине, кажется, скорее не как мужчине, а просто человеку, способному ее выслушать, не перебивая, а потом пожалеть...

– Как будни? Как успехи? – доносился на кухню через прикрытую дверь бодрый и проникновенный басок.

– Всё хорошо, спасибо. Хорошо... – Ирина помолчала, а потом как-то слишком решительно, почти отчаянно объявила: – У нас, кстати, гость. Можешь познакомиться.

– Мх! – усмешка. – Гость? С утра?

– А что?

– Да нет, так... Необычно просто.

– Тебе необычно?..

Широкие, крепкие шаги по паркету. Борис Антонович успел принять уверенный и независимый вид, приосанился на табуретке... Дверь открылась, мужчина заглянул на кухню. Не вошел – заглянул. По-молодому еще пухловатое, симпатичное и, как говорится, породистое, но слишком бледное, издерганное какое-то лицо; золотистые, явно крашенные волосы, надо лбом висит козырек густого чуба. Два темных острых глаза кольнули Бориса Антоновича... Да, что-то в них сразу угадывалось ненормальное, ненормальный какой-то жар... Борис Антонович прямо и твердо смотрел на заглянувшего; всю свою силу он сейчас вкладывал во взгляд, и в то же время радостным звоном билась в голове мысль: «А Аля молчит! Не бежит к нему! Не бежит!»

Лицо исчезло, и снова один, другой крепкий шаг в прихожей. И ехидно, но и обескураженно:

– Что ж, друг, прими поздравления!

– А... а что ты хотел?! – на грани вскрика ответ Ирины.

Борис Антонович приподнялся.

– Мх, да нет, – еще раз усмешка, – что ж... Значит, счастливо!

Тонкий, режущий слух скрип входной двери. Оглушительный, как выстрел, щелчок замка. Борис Антонович опустился обратно на табуретку и почувствовал то, чего не чувствовал еще никогда. Точно он не совсем, не просто человек, а крупный хищный самец, который сумел отогнать от подруги другого самца. Без драки, без крови и демонстрации клыков, а лишь взглядом, твердым, в упор взглядом, что страшнее оскала. Он почувствовал себя победителем.

Вернулась Ирина, молча и напряженно села за стол. Громко глотнула чая. Смотрела на сахарницу пристально и невидяще, беззвучно барабанила пальцами по клеенке... Борис Антонович накрыл ее руку своей, ободряюще сжал.

– Не надо, – еще более нервно, чем бывшему мужу, сказала она.

– Спасибо, мам! – дочка сползла с табуретки.

Ирина подняла лицо, измученно, искусственно улыбнулась:

– Покушала?

– Да.

– Иди тогда... поиграй...

Все выходные Ирина была мрачна и молчалива. Борис Антонович тоже помалкивал; казалось, любое слово – шутовское, успокаивающее – может окончательно вывести ее из себя, толкнуть к крику и слезам.

А потом очередная рабочая неделя с привычным набором дел, с хлопотами и усталостью. Зато какие хорошие были вечера в ту неделю! Уже без спроса Борис Антонович приезжал к Ирине и Але – в свою семью, – дарил девочке какую-нибудь игрушку или шоколадку, вместе с Ириной укладывал ее, читал ей перед сном сказки Чуковского, и когда Алина засыпала, осторожно целовал ее в щеку; девочка при этом всегда шевелилась и сладко причмокивала губами... Потом он шел в большую комнату, подсаживался к Ирине. Смотрели телевизор. Молчали. Но теперь это молчание не тяготило, оно казалось Борису Антоновичу молчанием бесконечно понимающих друг друга людей.

На выходные втроем поехали в Таллин. Гуляли по узеньким кривым улочкам, дышали теплым, пахнущим морем воздухом, любовались странными, как в иностранных фильмах, домами с черепицей, пытались читать вывески на смешном эстонском и тут же переводили на русский – повсюду они были на двух языках.

– Двадцать семь лет прожила, – грустновато призналась тогда Ирина, – а нигде, кроме Петродворца не была... Нет, еще в Кисловодске... с Сергеем в первое лето ездили...

– Еще поездим! – бодро пообещал Борис Антонович и обнял ее, а в душе испугался, вспомнил – и он тоже никуда не ездил, не путешествовал, даже ни разу всерьез не потянуло... Как-то обозначились несколько маршрутов по городу, и он из года в год ими следовал, автоматически, почти слепо. Иногда какой-нибудь маршрут становился ненужным и быстро забывался, появлялся новый, некоторое время был интересен, улицы или станции метро любопытны, но вот привыкал – и снова автоматизм, заученность, слепота. Так может вполне и вся жизнь протечь – по определенным, проторенным маршрутам, а редкие перемены, редкое новое станут под старость уже раздражать, приводить в смятение.

Да, тогда он испугался. Глянул по сторонам, на незнакомый, интересный, но и чужой совсем город, прижал Ирину крепче к себе, взял Алинку за руку. Еще раз огляделся, будто вокруг могла прятаться, караулить опасность. То ли опасность неизвестности, то ли заученности – ведь вполне можно и здесь пойти по тротуару, ничего не замечая вокруг, залезть в автобус, удобно устроиться, прикрыть глаза и поехать, поехать, зная чутьем, когда и где нужно выйти... Да так и живут и здесь тысячи, многие тысячи. И везде так живут.

Странное дело – в этот момент ему захотелось домой. К знакомым стенам, знакомым вещам, почувствовать под собой знакомое кресло, или сесть за рабочий стол, подтянуть к себе папку с макетом очередной какой-нибудь книги...

В воскресенье, ближе к вечеру, вернулись. Борис Антонович нес заснувшую по дороге девочку, а Ирина, выйдя из лифта первой, молча и без удивления вынула из щели между дверью и косяком записку, развернула, стала читать. Даже забыла замок открыть, и Борису Антоновичу пришлось ей напомнить о себе, об Алине у себя на руках.

– Извини, – очнулась она. – От Сергея... Недоумеваешь, где это мы.

Это был, пожалуй, единственный сбой в его визитах...

А дальше – еще пять рабочих дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Утром в субботу явился Сергей.

На этот раз волосы его были не желтые, а блестяще-черные, и зачесаны назад, собраны в короткий хвостик. Глаза спрятаны за мутными, многоцветными, как пятна бензина на воде, стеклами круглых очков. Вошел, театрально-широко улыбаясь, позвякивая бутылками в сетке.

– Можно вам помешать? – спросил, переводя разноцветные кругляши с Ирины на Бориса Антоновича и обратно.

– М-м, проходи, – нейтрально, без выражения ответила Ирина.

Сергей подал Борису Антоновичу сетку – он принял, – стал снимать белый польский плащ с широким стоячим воротником.

– Наш узкий кру-уг – маяк в крошечной ночи-и, – напел еле слышно и, хохотнув, повысил голос: – Надо, наверное, познакомиться. Правильно?

Борис Антонович пожал плечами, повторил только что произнесенное Сергеем слово:

– Наверное.

Сели на кухне. Ирина нарезала мелкими, кривыми брусками остатки вынутого из холодильника сыра, поставила на стол бокальчики. Сергей, усевшись возле стены, снял очки и положил их по левую от себя руку, а по правую – пачку сигарет и спички... Из комнаты прибежала Алина, сообщила то ли расстроено, то ли радостно:

– Мультки кончились!

– Привет, солнце! – Сергей потянулся, потрепал ее по голове. – Растешь? – И, не дождавсь ответа, похвалил: – Молодец!

У Бориса Антоновича сами собой дернулись губы, в горле зашипало, будто эта рука с длинными подвижными пальцами потрепала его самого. Снисходительно-поощрительно так, между делом. А девочка стояла, не отстраняясь и не приближаясь, глядя мимо гостя-отца.

– Кстати, я тебе принес кое-что, – сказал Сергей и вынул из бокового кармана пиджака большую конфету «Незнайка». – Держи!

Алинка как-то равнодушно приняла подарок и продолжала стоять.

– Что сказать нужно? – напомнила-потребовала Ирина.

– Спасибо.

– Пожалуйста, солнце.

И, словно поучаствовав в ритуале, исполнив необходимое, она ушла обратно в комнату. Сергей же уверенно срезал ножом пластмассовую пробку с бутылки, набулькал портвейн в бокальчики.

– Что ж, – тоном смирившегося с неизбежностью и даже вроде радующегося этому, выдохнул: – за знакомство!

Борис Антонович редко выпивал в последнее время, тем более – портвейн за два рубля семьдесят четыре копейки. И бокальчик он взял несколько брезгливо, заранее поеживаясь от сладко-терпкого, что сейчас потечет по пищеводу... Подсела Ирина, приподняла свой бокальчик, первой сделала движение чокнуться.

Отпили по паре глотков, поморщились, заели сыром. Сергей, облизывая губы, вытряхнул сигарету из пачки, покатав ее между ладоней. Зажег спичку внутри сложенной пещеркой ладоней, как на ветру, не спрашивая разрешения, закурил... Коротким кивком поблагодарил поставившую перед ним пепельницу Ирину, спросил Бориса Антоновича:

– А вы разве не курите?

– Перестал.

– М-м, похвально.

«Наглец!» – мысленно бросил ему Борис Антонович, а гость, точно бы услышав и желая позлить новоявленного хозяина, задал новый вопрос:

– Смею узнать, вы служащий?

Вопрос этот, а главное интонация, с какой он был задан, всегда потом вспоминались Борису Антоновичу, стоило ему увидеть Сергея вживую или по телевизору или услышать его голос. Так, наверное, интересовались старинные частные врачи у своих пациентов: «Что, голубчик, давно ведь, признайтесь, в сердце-то шумы?» – или: «Боли такие, тупые, ноющие, правда?» Спрашивали как бы и совсем не утвердительно, мягко, но стоило пациенту ответить не так, и доктор в две минуты доказывал, что обладатель шумов или боли не прав – один путается в сроках возникновения, а другой в ощущении... И в тот раз, поддавшись интонации, обезоруживающей и гипнотизирующей, Борис Антонович сбивчиво, почти стыдливо стал объяснять:

– Да, служащий. Работаю... Работаю в типографии... технологом... Составляю макеты обложек... переплеты...

Сергей дымил сигаретой, смотрел на него, чуть сощурился, чуть улыбаясь. Покачивал головой.

– Что ж, – кивнул снова, дождавшись паузы, – кто-то должен заниматься и этим. Я и сам из вашей когорты, как говорится. Служил государству... Здания проектировал. – Сергей взглянул под потолок, усмехнулся воспоминаниям. – Человейники в Купчино, Девяткино – и моих рук дело... М-да... А однажды... Да! Однажды взял и бросил. – Он особенно глубоко затянулся, выпустил изо рта и ноздрей столбик серого едковатого дыма и так же как-то едковато спросил еще: – А как вы к театру относитесь? Бываете? Если не секрет, конечно... У? – И стал подливать портвейн в бокальчики.

Сразу не найдясь, что сказать, Борис Антонович глупо, протяжно нукнул и пожал плечами, а потом, обозлившись, решил перехватить в неприятной беседе инициативу:

– Но, простите, мы ведь еще, – взглянул на Ирину, – не знакомы практически. Не представлены.

Ирина молчала, будто не слышала этих слов.

Сергей ткнул сигарету в пепельницу, опять улыбнулся своей покровительственно-мудровой улыбкой.

– Да что, к чему церемонии? Я, честно говоря, одичал за последнее время... Знаю, вы – Борис, а вы знаете, что я – Сергей. Сергей Олегович. Да?

Он подхватил бокальчик, призывно поднял; Борис Антонович и Ирина по инерции сделали то же.

Тускло звякнуло сжатое в пальцах стекло. Выпили. Передернули плечами от знобящей сладости портвейна. Скорее зажевали сыром...

Борис Антонович надеялся, что вопрос о театре уже забылся гостем и радовался этому, – о чем-чем, а о театре он ничего сказать не мог. Не говорить же: «Зачем сейчас театр, когда вон телевизор есть, фильмы какие...» Вообще ему с детства трудно было что-то доказывать и объяснять. В школе самым страшным были вопросы учителей: «Скажи, почему скорость человека идущего и человека сидящего в движущемся поезде одинаковы?» – или: «По каким причинам, Борис, крестьянская война под предводительством Болотникова оказалась наиболее мощным и удачным из восстаний семнадцатого – восемнадцатого веков? Ведь ни Разину, ни Пугачеву, в отличие от Болотникова, не удалось взять в осаду Москву. Как ты думаешь?» Ему легче было выучить наизусть огромное стихотворение, отчеканить постулаты Бора, выдать сто

исторически значимых дат, но доказать что-то, объяснить всегда становилось мучением. А учителя в их школе, те первые вольнодумцы шестидесятых годов, любили подискутировать, задать какую-нибудь эдакую задачку...

– Как? Не слишком гадкий портвейн? – вдруг обеспокоился Сергей. – Извините, но водку с утра не решил...

Борис Антонович уже приготовился было согласно кивнуть, и тут гость почти дословно, но настойчивей, повторил тот свой вопрос:

– Так как все же вы к театру относитесь? Есть в нем что-либо стоящее или нет?.. Профессиональный интерес, извините.

Досадливо кряхтнув, Борис Антонович пошевелился на табуретке, как бы устраиваясь удобней, искоса глянул на Ирину. Она продолжала сидеть с отсутствующим видом, поигрывая пустым бокальчиком...

«Да что я жмусь-то?! – возмутился вдруг Борис Антонович. – И перед кем? Что он мне, учитель?!» И сказал с вызовом, в четыре приема, почти нагло:

– Никак не отношусь. Ни разу не ходил за последние годы. И не тянет. У меня телевизор есть.

– Поня-атно, – чуть не весело протянул Сергей; подлил в бокальчики.

Еще раз выпили... Теперь портвейн прошел намного легче, терпкая сладость показалась даже приятной.

– Ма-ам, – появилась Аля, – я кушать хочу!

Ирина ожила, встрепенулась:

– Супчик будешь?

– Нет. – Стянула с блюда брусок сыра. – Сыр буду с колбаской.

– А колбаска кончилась. Давай супчику разогрею...

– Телевизор, значит... – заговорил Сергей с недоброй уже веселостью, и Ирина с дочкой примолкли. – Но телевизор – это ведь труп. Гальванические сокращения. И когда-нибудь он нас тоже сокращаться под себя заставит... Н-да... Фильмы, наверное, с удовольствием смотрите?

– Случается.

– А вы видели, как их снимают?

– Да нет, – пожал плечами Борис Антонович, все более раздражаясь, – зачем... Я – зритель.

– Отвратительное это зрелище, поверьте. Посмотрели бы, ужаснулись. Ложь. А спектакль... Спектакль – жизнь. Зритель садится в кресло, люстра гаснет, разезжается занавес, и никаких тебе дублей. Осветитель дал не тот свет – равносильно инфаркту, актер слова забыл – всё, смерть...

– А курочки нету? – тихий, но ноющий голос Алины.

– Нет, вчера ведь доели вечером, – тоже почти шепот матери. – Давай я кашку гречневую сварю? Гречки осталось маленько...

– Не хочу-у!

– Извините, конечно, что я пришел и говорю вам все это, далекое от ваших, видимо, интересов, – повысил голос Сергей, перекрывая шушуканье бывшей жены и дочки. – Но я нахожусь в очень непростой ситуации. Из, как вы выразились, зрителя я превратился в того, кто дает зрителю зрелище... Конечно, я несколько лукавлю насчет телевизора – телевизор, это великая сила. Спектакль, правда, по телевизору выглядит очень убого, да и правильно: каждому виду искусства свой способ выражения...

– А я колбаски хочу! – на какие-то тихие уговоры матери вдруг выкрикнула Алина.

– Солнце! – дернулся, вспыхнул Сергей. – Солнце, ты можешь помолчать хоть минуту?! – Казалось, он с трудом сдержался, чтоб не закричать.

Секунду-другую Борис Антонович искал, выбирал, как отреагировать. Потребовать, чтобы этот человек не повышал на ребенка голос? Или без всяких требований указать на дверь? Или дать ему денег и отправить за колбасой?.. Эти секунды размышлений пригасили порыв идти на конфликт, да и Алина вдруг согласилась есть гречку. И Ирина вскочила, тут же принялась готовить... Борис Антоновичу осталось лишь кашлянуть.

А Сергей дальше стал рассуждать-размышлять, неспешно, не очень складно, но играя голосом, как опытный профессор на лекции:

– Да, театр в кризисе. Была вспышка лет двадцать назад, как, впрочем, во всем. После ужаса. Теперь же – опять болотце. И тут причины глубокие... Кроме хорошей пьесы, режиссера, который зажжет, актеру нужно еще нечто такое... нечто мощное, что заставит его на каждый спектакль выходить, как... как на эшафот всходить. – Сергей покривил губы в недоброй, нехорошей улыбке. – Извините, может быть, за банальность, только... это не банальность. Мы еще пожалеем, что превратили самые сильные образы и священные слова в банальность, штампами сделали.

«Действительно, зачем он это мне говорит? – уже скорее не с раздражением, а с тоской подумал Борис Антонович. – И ведь я сижу и слушаю, убиваю субботу. Отраву глотаю...»

– Понимаете, я пытаюсь вернуть словам их вес, – продолжала настырно-размеренно журчать речь Сергея. – Н-да, претенциозно звучит, но... но что делать... Вот снова пошла мода на студии – и это правильно. Театры заостенели, даже наш уважаемый Георгий Александрович что-то, кажется, выдохся... актеры у него разбегаются, зритель зевает... На, хм, на «Тихий Дон» замахнулся... А студия... Пусть подвал на полста зрительских мест, труппа – десяток, зато – жизнь. В настоящем смысле слова... Свою студию я ни на что не променяю! – Снова взгляд на Бориса Антоновича и – усмешка. – Не смотрите так, я не псих. Хотя...

Он набулькал портвейна себе и новому мужчине в этой квартире, жестом предложил только что присевшей к столу Ирине. Она не отказалась. Алинка стояла у холодильника тихо и неподвижно – про нее даже забыли.

– Вам, наверное, смешным это кажется, Ирина меня предателем считает. Я знаю, и мне тяжело. Но я всё – всё! – поставил на карту. Понимаете? – Сергей, внутренне вскипев, не чокаясь, залпом осушил свой бокальчик, куснул взглядом Бориса Антоновича. – Я один, один совершенно в окружении тяжелых, по большому счету чужих мне, но необходимых людей. Они вытягивают энергию, с ними приходится каждый день бороться, уговаривать, убеждать, и... и они же все-таки помогают. Они делают в итоге то, что я хочу. Другие платят, чтобы посмотреть мои опыты, мои попытки, кормят, по крайней мере, ночлег дают... Я отказался от нормальной жизни, я... – Сергей запнулся, тряхнул головой. – Я, как это ни странно, верю в свою ненормальность. Не-нормальность.

– Ма-ам, – шепотом позвала дочка.

– Сейчас, уже сварилось почти, – сказала Ирина, и в голосе – слезы.

Борис Антонович отпил портвейна, сморщился больше не от противной сладости, а из-за самой этой неприятной, тяжелой ситуации; ему захотелось встать и уйти в комнату, развалиться на диване, прикрыть глаза.

– Скоро три года, уже три года, как я живу таким вот образом... Да, там, – взглянул Сергей на Ирину, – было хорошо и удобно. Только... Ну не хочу я быть одной из килек в общем трамвае! Каждое утро трястись от страха опоздать на службу, а там минуты считать, когда можно законно встать и выйти на улицу. Поехать домой, чтобы поужинать и лечь спать... Нет, я работаю! – Он пристукнул пальцем по столу. – Но это моя работа. Личная! Я устанавливаю расписание, авралы, выходные. И зарплату... – Нагнулся, достал из авоськи новую бутылку, быстро, словно опасаясь, что его могут остановить, открыл, плеснул себе (у Ирины и Бориса Антоновича портвейн был) и, держа бокальчик уже около самого рта, тихо, как бы себе самому, признался: – Но, может, сломаюсь. Вполне может быть... Каждую минуту стучит... Как при-

говор нам всем... Хм, не килькам... Не помню, кто написал, но так засело – намертво... Стихи такие... Извините, если смешно...

Прикрыв свои тяжелые, горящие глаза, он грудным, вибрирующим, мудрым каким-то голосом стал читать. Точнее – напевать:

Можем строчки нанизывать  
Посложнее, попроще,  
Но никто нас не вызовет  
На Сенатскую площадь.  
Мы не будем увенчаны,  
И в кибитках, снегами  
Настоящие женщины  
Не поедут за нами...

Потом, встречаясь с Сергеем, Борис Антонович всегда невольно вспоминал этот их первый разговор, не разговор даже, а монолог этого странного, неприятного, непонятного человека и удивлялся, как он год за годом, через неудачи, явные страшные запои, голод идет по своему пути, тоже странному и непонятному ему, Борису Антоновичу. И он не мог, несмотря на антипатию, ревность, бывало гадливость, не испытывать к Сергею подсознательное, тревожное уважение.

## 2

Первые семнадцать лет Ирина прожила в крошечном городке, а официально – поселке городского типа Окуловка. Почти напополам пересекает Окуловку железная дорога, но поезда пролетают, будто нет здесь станции, пусть крошечного, но зала ожидания с окошками-кассами; пролетают сквозь городок, не сбавляя хода, так же, как сквозь безлюдный, равнодушно спящий, болотистый лес...

Тот, кто не вырос или хотя бы не пожил в таких незаметных городишках на знаменитых магистралях, в городишках, расположенных не так безнадежно далеко от больших городов, но и не так близко, чтобы запросто там бывать, не почувствует, не поймет по-настоящему, какая тяжесть, неотступная, с ранних лет душевная тяжесть давит их жителей. Давит, гнетет, из поколения в поколение обессиливает. И почти никто не вырывается оттуда в большую, яркую жизнь, хотя вроде бы что? – от Окуловки, например, до Ленинграда двести пятьдесят километров, до Москвы – около четырехсот. Не так уж много по российским меркам...

По статистике, именно в таких городках и поселках больше всего пьяниц, хулиганов, самоубийц, сумасшедших, самое большое число на первый взгляд совершенно беспричинных убийств... Но как пытка слышится то и дело бодрая дробь стучащих о рельсы колес скорого поезда, как издевательство – висящая в кабинете географии огромная, во всю стену карта Советского Союза и, как рабы, бродят дорожники на станции, в своих грязно-оранжевых жилетах...

Семья Ирины считалась чуть ли не образцовой в их Окуловке. Отец, в юности серьезно отравившись техническим спиртом, не пил, работал начальником шарнирного цеха на заводе мебельной фурнитуры, получал по меркам их городка неплохо и к тому же имел полезное хобби – вырезал красивые рамы для зеркал, картин, фотокарточек, сдавал их какому-то человеку и получал деньги. Мать Ирины была учительницей русского и литературы, приехавшая когда-то по распределению в Окуловку из Калинина. К сорока пяти годам она стала завучем... Старший брат, трудолюбивый, на редкость мирный, спокойный парень, женился в двадцать лет, сразу как вернулся из армии, на своей однокласснице, и в три первых года у них родились

двое детей – оба мальчики... Но эта традиционная, крепкая, размеренная, почти счастливая жизнь пугала Ирину больше, чем какая-нибудь бесконечная пьянка-гулянка, скандалы, каждодневные поиски куска хлеба. В этой тесной, душноватой благополучности, казалось ей, очень просто уснуть и не просыпаться до самой смерти.

Под конец седьмого класса Ирина решила, получив аттестат о неполном среднем, ехать в Ленинград, поступить в какое-нибудь (без разницы) ПТУ. В этом решении ее укрепляли почти все ровесники, мечтающие скорее-скорее, при первой возможности, сорваться, сбежать отсюда...

Но родители, а особенно учителя, уважаемая Ириной соседка по подъезду их четырехэтажного тридцатидвухквартирного дома уговорили ее подождать, окончить десятилетку и тогда уже отправляться на экзамены в институт. «Потерпите, пожалуйста, два года, – говорила соседка, сама родом из Ленинграда, приехавшая еще до войны в Окуловку поднимать библиотечное дело. – Вы девушка способная от природы, тонкая, а в пэтэу можете себя загубить очень запросто. Потом жалеть будете, а ведь не вернешь. Посвятите эти два года подготовке, выберите, к чему душа лежит. И поступите в институт, а там... Всё будет, Ириша, поверьте»... Ирина не сразу, с сомнениями и спорами, но согласилась. Да и почти все одноклассники заняли свои места за партами в девятом классе – кто сам передумал, других родители не пустили, а у большинства денег не нашлось на билет, на самостоятельную жизнь в большом городе...

Наверное, из-за убогих домишек – или совсем деревенские избушки, или черные бараки из шпал, или, в лучшем случае, четырехэтажные хрущевки пыльно-белого цвета, – из которых состоял их городок, Ирина давно, но не всерьез мечтала создавать дома красивые, с украшениями, похожие на дворцы. Именно – не всерьез: не читала специальных книг, не интересовалась, как здания строятся, даже слово «архитектор» стала выделять из тысяч других слов только в девятом классе, когда встал вопрос, куда поступать после школы; зато с детства она собирала фотографии из журналов, где были изображены замки, соборы, московские высотки, новые микрорайоны, любила перебирать их, раскладывать, собирая на паласе целые города... Получив наконец аттестат зрелости, она без колебаний поехала в Питер в Архитектурный институт.

Провалилась на экзаменах, не удивилась, даже не расстроилась, а полистав в институтском читальном зале справочник о профессионально-технических училищах, нашла строительное неподалеку от Витебского вокзала, отнесла документы туда. Стала учиться на десятимесячных курсах по специальности «маляр». Через два месяца, не выдержав общаженно-казарменной жизни, сбежала домой. До июля зубрила учебники по архитектуре, истории, читала книги из школьной программы; случайно узнала о Ленинградском инженерно-строительном институте, где конкурс всегда был небольшим; полгода проработала маляром – белила родные четырехэтажки и детские садики; скопила немного денег... На архитектурный факультет поступила удачно.

Учеба не разочаровала и не увлекла. Ни с чем особенно сложным она не столкнулась, но и к возведению дворцов и необыкновенных домов ее тоже явно не готовили. И все радостные чувства она отдавала городу, огромному, каждый день новому, неповторимому в каждой мелочи...

Парни и раньше проявляли к ней интерес. Пытались завязать дружбу, бывало со спорами и чуть не драками между собой, приглашали потанцевать, предлагали покатать на мотоцикле, погулять вечерком. Но Ирина была осторожна – она очень рано поняла, что в их Окуловке нет и не может быть того, с кем стоит связывать жизнь; она почти инстинктивно, почти без лишних размышлений и взвешиваний, берегла себя для другого, для настоящего интеллигентного парня, какими, она знала, много раз слышала, богат Ленинград. И, оказавшись здесь, сразу, с первой же фразы, оценивала молодых людей с позиции – может ли этот или вот этот быть ее мужем и другом, с серьезными мыслями он подошел к ней или так, в надежде поразвлечься. К

сожалению, большинство попадали в разряд – так. И после двух-трех свиданий Ирина давала понять им: всё.

Когда в конце второго семестра ее заметил Сергей Стрельников, Ирина сразу угадала, испугалась и обрадовалась, и объявила себе: «Вот, это он!»

Он был старше на неполных два года, но поначалу показался ей аспирантом или уже преподавателем. Высокий, всегда в костюме, с черным галстуком-шнурком на белой сорочке, он без суеты, степенно проплывал по коридорам, и студенты как-то непроизвольно, как само собой разумеющееся, расступались. Девушки призывно-жадно глядели ему вслед, многие профессора здоровались за руку.

– Добрый день! – остановился он однажды перед Ириной на лестничной площадке института. – Мы, к сожалению, друг другу не представлены, а давно хотелось бы познакомиться.

– Да... – тоненько, слабо от неожиданности и волнения, то ли утвердительно, то ли с недоверчивым удивлением отозвалась она.

– Меня зовут Сергей. Сергей Стрельников. Учусь на третьем курсе. Прикладная математика. В-вот... А вы – Ирина?

– Да.

– Ирина... – Он словно бы в раздумье или в последнем сомнении пожевал губами, глянул куда-то вверх нее. – Понимаете, дело в том, что в «Перекрестке»... такая студия есть молодежная... сегодня спектакль. Пьеса так, ничего, за спектакль – не ручаюсь... Так вот, Ирина, не хотели бы составить мне компанию?

И она, помедлив несколько секунд (справлялась с дыханием), так же тонко, почти пискляво, произнесла:

– Да.

Объяснив, где и во сколько они должны встретиться, Сергей тряхнул головой в коротком поклоне и пошел по лестнице дальше, а Ирина осталась оторопело стоять, не веря, что такое вдруг запросто так, почти по деловому произошло... Да и что произошло? Ну пригласил парень на спектакль. Как-то слишком официально и сухо... Но ведь почему-то именно ее пригласил... Затрещал звонок, разбудил, подхлестнул; Ирина поспешила на очередную лекцию.

На какое-то время удалось заслонить впечатление от неожиданного разговора – она вдумчиво записывала важные слова преподавателя, разглядывала чертежи зданий, вместе со всеми делала замеры несущих стен. А вышла из института – и навалилось. И радость, и страх, и уверенность (после пяти-то минут общения!) в том огромном и счастливом будущем, что сегодня начало перед ней приоткрываться. И вместе с ней в этом будущем был высокий, в светлом костюме Сергей... Она остановилась во дворе, несколько раз глубоко охнула, шепотом попыталась охладить себя единственным пришедшим на язык словом: «Прекрати! Прекрати! Прекрати-и!»

– Ирка, ты что?! – встревоженный голос рядом.

– А? – оглянулась – возле нее озабоченно переминалась однокурсница и подруга Наталья.

Столкнулись взглядами, и лицо Натальи исказилось, словно увидела она что-то ужасное; Ирина тоже испугалась и скорей попыталась улыбнуться, успокоить больше себя, чем подругу:

– Нет, ничего, Наташ... Наоборот... – Отваживалась и добавила: – Свиданье назначили.

И мгновенно однокурсница расцвела. Потянулась к Ирине:

– Кто? С кем?

– Нет, не надо... Потом... Хорошо? – Кивнула и пошла по улице, и радовалась энергичному, бодрому стуку своих каблучков, тому, что одета сегодня (точно предчувствовала, выбирая утром кофточку, юбку) нарядно, почти празднично...

Они договорились встретиться у выхода из метро «Площадь Мира». Вечер был теплый и сухой, тихий, какие большая редкость в апрельском Ленинграде, и потому Ирина сначала,

и довольно долго, просто наслаждалась погодой, вдыхая вкусный, пахнувший молодой травой с газонов воздух, чуть солоноватый, чуть терпковатый, с легкой примесью аромата ее духов... Солнце спускалось к крышам, светя сбоку и окрашивая всё рыжеватым; звонко-весело позвякивали пробегающие через площадь трамваи... Ирина стояла на высоком крыльце станции, любуясь строгими и в то же время нарядными домами, прямоугольником обступившими площадь, наблюдая за людьми, каждый из которых казался ей сейчас симпатичным и добрым, счастливым, как и она сама...

Но вспомнила, зачем стоит здесь, взглянула на часики, и солнце, смеющееся в ней, стало тускнеть: Сергей опаздывал, опаздывал уже почти на десять минут. «Ну вот, – хмыкнуло злобно в груди, – раскатала губы... Дура!» И, как это иногда показывали в кино, закрутилось пленкой в обратную сторону ее будущее – ее будущая, и теперь, сейчас, не сложившись, уже бывшая семья с мальчиком и девочкой, и красивый, интеллигентный, правильный муж, ее спокойная и в то же время интересная работа после института, уютная квартира... Пленка бежала, скручивалась спиралью и падала, стекала куда-то вниз, в какой-то темный, мусорный ящик. А в груди продолжало хмыкать и шепелявить: «Ну вот! Во-от!..»

Стоять здесь, на этом высоком крыльце, на виду у всех, стало стыдно. Перед собой унизительно... Ирина сунула правую руку в карман пальто, пальцы сразу наткнулись на металлический блинчик. Вынула его, несколько долгих секунд разглядывала непонимающе, что это такое. «А-а, пятак... – наконец сумела понять, объяснить себе. – Пятак на проезд. До общаги!»

Резко повернулась спиной к площади, с огромным усилием сделала шаг, трудный, медленный, как против ветра, а потом – много легче – второй. Стеклопанельная дверь с надписью «Вход в метро» ближе. Еще шаг, еще... И рука поднялась, потянулась, чтоб толкнуть ее.

– Ир! – короткий, запыхавшийся выдох почти в самое ухо. – Прошу... прощения!

Большая ладонь легла ей на плечо, чуть сжала, удерживая, и тут же отпустила, исчезла. И этого выдоха, мгновенного прикосновения хватило, чтоб снова на душе посветлело и слезы вернувшейся неожиданно радости защипали глаза... Она не оборачивалась, опустила лицо, пытаясь спрятать их, но, подталкиваемые другими, первые слезинки уже бежали по щекам горячими каплями.

– Извините, Ирина. Я понимаю – я поступил по-хамски.

– Ничего. – Достала платок, вытерла щеки, глаза, сморкнулась, продышалась. Не оборачивалась.

Стоя все так же за ее спиной, Сергей натужно, неуверенно предложил:

– Пойдемте?

Потом, позже, через несколько лет, когда осталась одна, точнее – с дочкой, но без него, без Сергея, она часто, были периоды, что и каждую ночь, вспоминала это их первое свидание, начавшееся вот так. Ведь стоило, стоило же ему опоздать еще на полминуты, и она бы встала на эскалатор, она бы уехала, а завтра уже наверняка (да, да!) не простила бы. Скорее всего... И не было бы тех месяцев счастья, что навсегда остались лучшими в ее жизни, не появилась бы у нее Алинка, но зато бы не было и тех невыносимых, убийственных лет брошенности и ненужности, безысходных, черных лет. Не появился бы в ее жизни Борис, хороший человек (да, хороший!), хотя и слишком уж вялый, однообразный, пресный какой-то. Но он спас ее, вытащил из ямы ранней старости, и за это ему можно простить его пресность, можно вытерпеть его порой почти мертвенную однообразность... Да, всё могло бы получиться иначе (но как?), опоздай Сергей еще на каких-нибудь полминуты...

Спектакль должен был состояться, кажется, в районном Доме культуры в окрестностях площади Труда, и идти пришлось достаточно долго. Сергей, сначала натужно, а потом увлекшись, с каждым словом всё интереснее, рассказал, что он не просто сухой математик, что увлекается театром, даже сам иногда играет и пытается ставить спектакли; спросил Ирину, как

она относится к Товстоногову, к Любимову, Эфросу. Растерявшись, Ирина пожалала плечами, забормотала:

– Да я как-то... как-то не разбираюсь. Редко хожу...

– Жаль, жаль, – сочувствующе-неодобрительно произнес Сергей и стал расспрашивать, откуда она, почему поступила именно на архитектурный, как ей Ленинград...

Да, в театре она хоть и нечасто, но бывала, и думала, что и теперь будет как обычно: фойе, гардероб, зрительный зал с огромной, блещущей десятками лампочек люстрой, будут разноцветные фонари, кулисы. Тем более что и шли-то они в Дом культуры – тот же, в общем, театр. А оказалось совсем иначе, совсем непохоже. Просто какая-то огромная комната в старинном доме (может, бывшая бальная зала), без мебели, с залепленными кусками алых полотнищ окнами. У дальней стены слабое подобие сцены – полукруглое возвышенье, наверное для оркестра; было и подобие фонарей – две настольные лампы по краям возвышенища. А на самом возвышенище стояло несколько скелетообразных металлических стульев.

Правда, обстановку комнаты Ирина рассмотрела чуть позже, когда они с Сергеем заняли места на полу, усевшись по-турецки, и ждали спектакля. А поначалу всё ее внимание было обращено на публику...

В толпе на Невском, в метро, в кафе она часто встречала странного вида парней и девушек. Одни были длинноволосые и лохматые, в каких-то слишком цветастых рубашках навыпуск, в тертых до белизны джинсах, другие – в слишком шикарных пиджаках и платьях, в которых только, кажется, консерваторию посещать, с прическами, будто минуту назад из парикмахерской вышли, в руках у некоторых молодых людей были тросточки, а у девушек (скорее юных дам) – солнцезащитные зонтики. Но и те и другие, одетые совершенно по-разному, были именно странными, слегка даже пугающими и в то же время притягивающими взгляд, вызывающими у Ирины, да и явно у многих, кто на них смотрел, какую-то раздражающую зависть... И вот сейчас таких собралось в этой тоже странной, как не из нынешнего века, многооконной зале человек пятьдесят. Они курили, собравшись кучками, разговаривали между собой вроде и по-русски, но непонятными Ирине фразами, с непривычной интонацией; компашка ребят с одинаково крашенными в коричневый цвет, стоящими дыбом волосами и спускающимися чуть не на шею узенькими бакенбардами, гоняла по кругу бутылку вина.

Сергея узнавали, останавливали на каждом шагу, здоровались, улыбались ему, и он тоже здоровался и улыбался, но не как равным, а как-то несколько свысока. Хотя, может быть, Ирине просто казалось это из-за его высокого роста, ее нежелания видеть Сергея кому-то равным... Он ни с кем не знакомил Ирину, и ее вроде как не замечали, и ей становилось обидно. Будто Сергей прицепил ее, как какую-то брошку или запонку, мелкую безделушку, о которой каждую минуту вспоминать необязательно. Да, впрочем, и сам он откровенно не выражал особого желания разговаривать со встречающимися, а поздоровавшись, перебросившись фразой-другой, шел дальше, к подобию сцены.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.